

Залог счастья — гнездышко ремеза

*Ремез — пташка из рода синичек,
которая вьет гнездо кошелем.
За искусство это ее зовут первой пташкой у Бога.*

В. И. Даль

Заметают снега неширокие улицы моей деревни, изо дня в день все плотнее укрывают, уметывают подвижной белизной бани под самые крыши и огородное прясло напротив наших окон.

Тихое счастье сидеть в теплой избе, когда всего в шаге за стеклом метель и холод.

Больная мама стонет на голбчике, который сделан над запечным ходом в страшное подполье. Отец бесцельно скрипит по избе самодельным протезом, который зовут деревяшкой.

Мне десять лет. Я уже привык к тихим стонам мамы, и под них делаю уроки. Я учусь хорошо.

Мама просит бога о смерти. Бог безучастно слушает ее с небольшой дощечки на божнице в переднем углу избы.

Прямо перед божничкой на белой нитке висит похожее на рукавичку гнездышко птички ремеза. Отец нашел его прошлой осенью в первых лесках высоко на березе, скинул деревяшку, полез и снял. Мне он сказал, что наша мама выздоровеет, потому что ремезиное гнездышко приносит счастье. В глазах его были слезы.

Мама умерла вьюжным мартовским вечером.

Через много лет, прощаясь с совсем опустевшим домом, я увидел на божничке то самое гнездышко. Во мне не было упрека. Моя спешащая жить душа нуждалась в поддержке и обрела ее. Маленький пыльный комочек, сотворенный лесной пташкой... Я верил в неизбежность счастья.

В который раз...

2003 год

Мои грибы

Хожу по утреннему сонному лесу. Грустно хрустит валежник под робкой ногой. Еще год назад живые ветки потрепанных временем берез пали, чтобы стать прахом. Ветра нет, он есть небольшой там, на опушке, а в глубине березового колка не шелохнет. Комарам простор. Они висят в воздухе, наполняя пространство удивительно тонким пронзительным звуком. Он поневоле настораживает. Современные мази почти не спасают, и острые комариные покалывания беспокоят то там, то тут. В самых неожиданных местах. Солнечный свет почти не доходит до земли, глаза привыкают к нежному сумраку. Я ищу грибы.

Из всех деревенских промыслов этот единственный, на который всегда езжу охотно. Машину оставляю в первых березках, в стороне от дороги, запираю на ключ, который прячу под травяной коврик у колеса – чтобы не потерять. Объемная корзина досталась мне по наследству, сейчас это, пожалуй, единственная материальная память от родителей. Бросаю в нее нож и осторожно вступаю в лес. Вкусно пахнет грибами. Их еще не видишь, но знакомый с детства дух возбуждает азарт. Дух и запах, наверное, не одно и то же. У нас в деревне говорили: а дух-от какой! Это когда очень радостное что-то, приятное. Еще – духмяный. А запах – более общее, он может быть и грубым, не чистым.

Глаза быстро приспосабливаются к новым цветам и объемам, замечают едва заметные бугорки, гриб приподнимает слой перепревших листьев, и они становятся его шляпкой. Так растут все грибы, потому под первыми шляпками обнаруживаю поганки – так у нас звали грибы, имен которых не знали и которые никогда не собирали. Вообще в наших местах брали только грузди, которые называли настоящие, и сухие грибы, суханы.

Отец выполнял в колхозе какие-то обязанности, и ему положена была лошадка с ходком. Ходок – облегченная телега, без платформы, вместо нее собранный из жердей каркас. Еще были кошевки, плетеный из тонких прутьев кузов ставился на легкий ходок, но то для начальства, как сейчас джипы. Когда собирались по грибы, мама застилала ходок брезентом и старыми половиками. Выезжали рано, отец уже хорошо знал, куда ехать, он вообще знал ягодные и грибные, груздяные места. Добравшись, распрягал лошадь, спутывал ее и отпускал, привязав вожжами к телеге. Сам отходил чуть в сторону, скидывал деревяшку, самодельный протез, который заменял ему потерянную на войне ногу, и начинал искать. Меня отправлял в дальний угол леска и наказывал, чтобы резал только маленькие грузди, чтобы не больше свиной бирьки. Но я видел лишь шляпы, настырно выставившие себя напоказ, они не все были червивые, я складывал их в корзину, а отец у телеги безжалостно выбрасывал, беззлобно матерясь. К вечеру большая часть ходка была завалена грибами, мама укрывала ценный груз, освобождая в передке место для нас. Отец брал вожжи и тихонько выезжал на дорогу.

У него был зоркий глаз. Он с телеги замечал одиноко стоящие обабки, так у нас зовут подберезовики (Даль с этим согласен), и командовал, чтобы я срезал. Отец запрещал рвать грибы, только срезать под корень, чтобы не испортить гнездо, хотя в обиходе было ломать грибы. До сих пор я не уверен, как правильно надо вести себя с грибным гнездом, чтобы не испортить. Где-то читал, что именно сламывать нужно, но всегда режу, как научили.

Обабки да еще опята, опенки – вот и все, что мы знали и без сомнений ели. Обабки годились только на скорую еду, их не готовили впрок, вообще тогда в деревне не знали другого способа заготовки, кроме соления да еще сушки. Их сразу по приезде чистили, мыли, мелко крошили и тушили в сметане или растительном, постном, масле. Когда мама ставила на стол большую глубокую сковороду, отец выразительно на нее взглядывал, и она с пониманием приносила нам литровую банку бражки. Бражка у нее всегда была выстоявшаяся, чистая, приправленная пережженным сахаром, оттого густого темно-коричневого оттенка и с аппетитным запахом. Больше половины сковороды съедалось сразу, а поздно ночью, вернувшись с гуляний, я с удовольствием ложкой черпал прохладную, тягучую массу.

Опять в конце августа отец нарезал на вырубках со старых пней помногу, их крошили и сушили под сараем на тех же половиках и брезенте, потом укладывали в старые подушечные наволочки и подвешивали на печке или на полатах. Зимой часто варили опенницу с крупой, ложка сметаны или даже молока делали этот ароматный суп очень вкусным.

Грибы в деревенском рационе занимали важное место. Конечно, наши не знали о том, что гриб по каким-то качествам заменяет мясо, я и сейчас в это не особенно верю, да еще недавно местный знаток Володя Кислов скептически заметил: если бы заменяли, волк не искал бы барашка! Но грибной суп варили, с картошкой тушили, пироги стряпали. Вкус пирожков с крупой и груздями мстительная память хранит и издевается: не доводилось более вкушать таких. А может, что-то с ощущениями?

Сразу по приезде из леса грузди и сухие грибы раскладывали в бочки, тазы и ванны, заливали холодной водой, через день воду меняли, предварительно прополоскав каждый гриб. Бахром у нас не чистили, потому, случалось, груздочек не только смачно похрумкивал, но и поскрипывал попавшими на зуб песчинками. Немцы Поволжья, переселенные к нам во время войны, грибную бахром убирали сразу, это я видел в большой семье Якова Кауца, жившей у самого озера Афонькино и готовившей грибы к засолке прямо на берегу. К этому наши бабы относились с недоумением, как и к тому, что немцы среди лета щипали пух с живых гусей.

Грузди и суханы растут деревнями, вокруг одного ищи его собратьев, которые прячутся недалеко от основного гнезда. В наиболее удачные годы в прострельных березовых лесках они могут жить сплошняком, и тогда такой азарт охватывает охотника, что не успеваешь обрезать, взгляд так и шарит вокруг, отыскивая следующий груздок, и ты перебегаешь с места на место, счастливый и возбужденный.

Наиболее удачные случаи помнятся всю жизнь. В бердюжских лесах, недалеко от Истошино, открыл лесную гриву с белыми грибами. Каждый год ездил за ними, потому что белый гриб – это как солидная щука на рыбалке или для охотника сбитый гоголь на перелете. Потом лесничество перепало урочище и засадило сосной. Грибов не стало. Только один белый нашел за озером Моховым, один, но очень большой, у меня сохранилась фотография, где спичечный коробок рядом с ним кажется почтовой маркой. Из того гриба получилась литровая банка деликатеса.

Сухие грибы я как-то несколько дней кряду почти выкапывал из борозды, нечаянно прочерченной плугом в подлеске за Пеганово, они были черны от земли, но ровные и крепкие.

Однажды соседка бабка Таня попросила отвезти их с дедом на сенокос, прошли дожди, и надо было переворачивать сено в валках. Ранним утром мы приехали на покос, который нешироким языком врезался в березовый лес. Дед деловито прибирал вилы, сумки и топорик, а бабулька черенком легоньких грабельцев начала было переворачивать ближний к лесу валок едва подсохшей травы, но закричала, чтобы я бежал к ней. На освобожденной от сена еще влажной земле, среди щетины стерни красовались маленькие ровные грузочки. Их было много, рука радовалась от прикосновения к прохладной скользкой поверхности молоденьких груздей, я опрокидывал несильную травяную массу на прокос, обнажая беленькое неожиданное чудо. Такого больше мне не приходилось видеть, это подарок природы, редкий, и оттого сладостный.

Не грибы в радость, а встреча с ними.

С апрельским теплом у нас дома открывали погреб и доставали картошку, квашеную капусту, соленые огурцы и грузди – все, что было положено до весны. Определяли, что можно продать в городе на базаре. Кадку с груздями добывали из погреба всем околотком. Мужики обвязывали ее веревками, мама протирала от сырости тряпицей, под «Ну, ишо раз!» центнеровая кадучка выплывала в пространство сарая. Отец ездил в город сам.

Середина прошлого века не была сытной и беззаботной для ребятни, каждый вечер на ужин варили чугуны картошки, чаще всего в мундирах, картошку вываливали на стол, тут же стояло блюдо с квашеной капустой, солеными огурцами и груздями. Груздочки, помнится, были лакомой закуской в молодые годы, так и говорили: груздок под рюмочку. В этом была своего рода эстетика. Теперь так уж не выпивают...

В Литературном институте, в Москве, познакомился с молодой поэтессой, дочерью известного дипломата. Конечно, не только грибами памятны те годы, но вспомнил кстати, что по ее просьбе приволок из Казанки на сессию банку соленых грибов, для отца. Он, бедный, так тосковал по деревенской природе, сам владимирский родом, что на госдаче посадил с десятков привезенных с родины грибниц, но они, видно, не особенно разрослись.

Давно заметил, что люблю быть в лесу один. Встретив первый гриб, режу не сразу, осторожно очищу от листвы и травы, полюбуюсь, поговорю с ним: да миленький ты мой! моя ты красота! Незаметно уходишь в природу, время исчезает, воздух вытесняет из души всю суетную дурь, и в голове абсолютная свобода. Ощувив это хоть раз, поймешь Василия Макаровича Шукшина в его встрече с березками в «Калине красной»: красавицы, невестушки, заждались!

Солнце поднимается высоко, воздух нагревается, обостряются запахи. В корзине не очень много грибов. Голова приятно шумит, ноги устали. Да, а когда-то по всему дню шастали по лесам. Свидание с лесом подходит к концу, надо возвращаться в мир людей, жесткий и беспощадный. Морозным зимним днем соленые груздочки напомнят об этих минутах. Положу их в алюминиевое блюдо, прямо на стол вывалю вареную картошку. Погрушу, а может и поплачу.

Что гриб, вроде пустяк, а вот на размышления наводит.

2006 год

Крестовой дом на Голой Гриве

Ты, сынок, конечно, мало что помнишь о Голой Гриве, хоть и улицу эту знаешь, и ходил по ней и ездил много раз. Эту улицу теперь так зовут редко, дали имя какого-то Хомяковского, в восстание он усмирением занимался, мужиков поднявшихся к стенке ставил, это мне верный старик говорил: прямо к церковной стенке лбом, а потом родственникам выдавали. Ну, это давненько было, в двадцатые годы. Улочка та от деревни вдоль речушки до самого озера настроилась, дома, сказывают, добрые стояли, хозяева путние жили. Место увлекательное, тут тебе и выгон для скотины, и открытая вода для птицы, потому все жители выпаривали уток и гусей, по утрам такой гогот и гай, что без сомнения поверишь: могли гуси и Рим спасти от внезапного неприятеля, если всю деревню поднимали.

Не забыл еще в своих блужданиях по белому свету названия наших пашен и других кормовых мест? Поляков Колок, Новиков Дом, Первые Ямки, Вторые, Кулибачиха... При царизме крестьяне землю всю делили на сходах, как на общих собраниях, староста был избран из общества, писарь.

Делили по душам и по совести, так наделы и закреплялись за семейством, на пашне, считай, жили с посевной до молотьбы, потому избушки строили, колодцы рыли, даже бани, если семья большая. Прошлым летом ты меня на своей машине возил к Пудовскому озеру, я там ходил, яму от колодца нашел, где избушка наша стояла – тоже, тут наши пашни были до коллективизации. Мне десять лет еще не минуло, отец зацепил за смиренной Пегухой боронку и вожжи мне подал: борони, Макся, хватит тебе сорок гонять. Не помнишь? А я все боялся, что ты слезу мою заметишь...

Вот так, в страдную пору, когда вся деревня в поле, сделался пожар на этой улочке. Май месяц, сушь невозможная, пламя, говорят, так взыграло, что свечой до небес, и даже дыма нет. Ударили в набат. На церкви нашей колокол был о ста пудах, его на многие версты кругом было слышно. Отливали по заказу нашего купца и маслодела Кувшинникова, но колокол сбросили перед войной, Шурка Ляжин да Никитка Локотан дерзнули снимать. Шурка вскорости утонул в Марае, а Никитка сгинул на фронте без весточки. Ударили, а на пашнях-то услышали, знают, что в набат просто так не бьют, лошадей запрягают и в деревню. Знамо дело, пока скакали, огонь окреп, соседние постройки занялись, к домам уже не подступиться, да и тушить бесполезно. Ведрами стали воду подавать по цепочке, крайний плеснет в сторону огня, а вода на лету закипает и в пар. Жар стоит нестерпимый, волосы на голове потрескивают. Народишко барахло спасает, выносит из домов и от греха подальше в речку, в воду. Не знаю, насколько верно, но сказывали, что подушки плыли по волнам и горели.

Тогда собрались мужики в сторонке: надо что-то делать против стихии, иначе вся деревня выгорит, такие случаи были, правда, не у нас. А огонь уж на подходе к деревне, ворвется – ничем не остановить. Тогда сказал Паша Менделёв:

– Чтобы огонь захлебнулся, надо не дать ему пищу, ломаем мой дом.

Дом у Паши стоял в основе улицы, на стыке улочки и деревни, большой дом, крестовой, под тесовой крышей. Постройки, само собой, ограда резная, дом весь изукрашен, любо посмотреть.

– Ломайте, мать вашу, иначе сгинем все!

Ну, накинулись, верно говорят, что ломать – не строить. Кое-что из дома вынесли, кровлю заворотили и столкнули, стропила выпростали, а стеновые бревна только так посыпались. Что упало, подхватывают и уносят подалье, пока до основания дошли, огонь уж тут. Рубахи тлели на мужиках, когда последние бревна выносили. Огонь повитийствовал на последней жертве и ослаб. Тут кто радуется, что спасли его хозяйство, погорельцы разом заревели, бабы, конечно. К вечеру все головешки погасили, на улочку страшно посмотреть, одни печи стоят с чужалами. Я, понятно, сам не видел, но могу представить, доводилось на фронте проходить по выгоревшим деревням, только большая русская печь остается после огня. Страшное видение, скажу тебе, жуткое. Ну, проревелись, пошли в храм, отслужили молебен, после разобрали погорельцев по родне, староста сказал, что завтра же поедет в волость искать помощи для пострадавших.

Теперь о Паше Менделёве. Он сам видный был, красавец мужик: ростом не очень высок, крепок, лицом чист, глаза темные, глубокие, как старицы, волос из кольца в кольцо, так что с бабами у него забот хватало. Женился он на Апроше, Федора Петровича дочери, верней, женил его папаша Петро Михайлович, больно крутой был, с Федькой у них дружба сердечная, вот и решили ее укрепить родством, а Пашу не спросили. Тогда против воли отца не могли возмутиться, враз лишит наследства и из дома выпрет, обвенчали, сыграли свадьбу на Покров день. Только Пашка не смирился, погуливал, жил с Апрошкой в родительском доме, чуть что – отец за ремень: запорю! Не улыбайся, тогда и женатику родитель мог всыпать, мне самому перепадало, но это уж позже.

И вот время к Паске, праздник это большой был, радостный, служба в храме, потом гуляния, разговение, пост же кончился, к утру готовили скоромную пищу, а после обеда устраивали игрища. Это как теперь соревнования, да и те вы уже забываете, но тогда был кулачный бой, боролись на опоясках да конные скачки устраивали. Отец Паши Петро Михайлович охоч был до лошадей, имел несколько рысаков и всякий раз сам скакал и призы брал. В этот раз тоже объявил, что будет, привели серого в яблоках жеребца, гордость хозяина, Паша и привел, Петро Михайлович бодренько вскочил в седло, поехал разминать коня. Через время объявили заезд, с десяток лошадей участвовали, это на Кизилровке устраивали, место там ровное, вешки поставили по кругу с версту. По команде сорвались кони с места и понесли, народ кричит, первый круг прошли, второй, Петро Михайлович идет в серединке. Многие знали, что это тактика у него такая, на последнем круге свое возьмет, и дело не в баране, который на приз выставлен, у Менделёва овечек никто не считал, – натура у него такая, первым быть, хозяином.

Когда вышли на последний круг, Петро Михайлович был уже впереди, красиво шел рысачок, и верховой тоже завидно гляделся, прильнул ко гриве, уже не надо вмешиваться, этот конь никого вперед не пустит. И тут ахнула толпа: Петро Михайлович качнулся в сторону, рысак шархнул, всадник со всего маху сорвался с лошади и ударился о землю. Когда подбежали, он уж дергаться перестал, тут же седло подняли, а подпруга посерединке порвана. Опять все ахнули, когда концы свели: подрезана подпруга, только чуть оставлено, потому и держалась пока...

Приезжал следователь, опрос делал, у Пашки допытывался, кто мог сотворить такое, Пашка указал на Фоку Рожня, который в работниках был и за лошадьми смотрел, а Фока под присягой заявил, что рысача седлал сам молодой хозяин. Фоку того увезли, и вернулся он уже после революции, но слух был, что Пашка и сделал, чтобы от родителя избавиться. С полгода еще после похорон прожил с Апрошкой, а потом отвез к отцу ее вместе с приданным.

Да, о доме. На Никольской ярмарке в Ишиме встретил Паша барышню, говорят, не шибко голубых кровей, но состоятельных родителей дочь, и была она вместе с папашей своим, маслоделом из Маслянской волости. Она не то, что молодая – юная совсем, девчонка шестнадцати лет, а Паше уж под тридцать, но он разум потерял, все дни терся около торговли маслодела, свои дела закинул, наконец, изловил девку. Конечно, никто не слышал, что он ей говорил, только можно догадаться, что пел он лучше соловья и слаще заморских всяческих певунов, охмурил напором и подарками, а через неделю сватов прислал. Свадьбы не было и венчания тоже, но стали поговаривать, что тошно Пашке в родном доме, покойный родитель ночами приходит и спрашивает, за что это сынок такое с отцом породившим сотворил. Паша крепился, от вопросов отнекивался, к докторам ездил, но покоя не обрел. И тогда сказала ему молодая жена, что надо свой дом поставить и из родительского уйти. А коли сказала, то значит, знала уже мужнину тайну, ведь так? Хотя могла и просто посоветовать, чтобы обстановку изменить.

Как бы то ни было, закупил Павел Петрович сосновый лес у викуловских торговцев и за деревней поставил крестовой дом, бригаду мастеров нанял, чтобы дом изукрасили, дело свое они справно вершили, не дом вышел, а теремок. Освятил его хозяин как положено, и перешел, сюда же часть хозяйства перевел, часть оставил сестре Анне с матерью. А когда он ушел, сестрица стала чаще к скотине выходить, где сама сделает, где работникам подскажет. Она в девках засиделась из-за этого случая с батюшкой, вся округа судачила, что не добрая та семейка, где сын отца под смерть подводит, сыну хоть бы что, а на дочери отразилось, не идут сваты, хотя и девка не бракованная.

И вот в конюшне разбиралась она с барахлом, и в загородке, где рысак стоял, увидела рукоятку ножа, в паз стены воткнутого, выдернула и задохнулась: Пашкин нож, он всегда при нем был на работе в поле, а в стене оказался не просто так. Никому ничего не сказала, пришла к брату и подала нож, а того не подумала, что братец от безвыходности может и ее тем ножом. Нет, обошлось, только Павел Петрович с того дня опять покой потерял. И бояться нечего, нож выбросил надежно, сестре никто не поверит по прошествию времени, сочтут за наговор, мол, обидел сестру при дележке, вот та и мстит. А он не может места изобрать. И тут пожар.

Да, а семейная новая жизнь у Пашки складывалась – лучше не надо. Молодую так его любила, что ноги мыла и вытирала белым полотенцем, в глаза заглядывала, чем накормить, как обнять – приголубить. В первый год родила ему парня, на второй год девку, Паша дома отходил сердцем, а как уединялся в работе – дуром дурил. Вот тогда жёнушка и посоветовала ему исповедоваться и причаститься у игумена или другого монаха, потому что монахи больше силу имеют, чем даже священники.

Поехал Павел Петрович в Тобольск, в Абалакский монастырь, хорошее пожертвование сделал, определили его к монаху Евпатию. В его келье жил, с ним работал на послушании, ночами молился вместе со старцем. Хотя какой он старец, и не старик даже, а мудрость в нем и свет, это Паша сразу заметил.

Сначала монах попросил рассказать свою жизнь, Павел исполнил, но про несчастный случай ничего не сказал. И тогда монах спрашивает про отца, где, мол, он у тебя? Павел ответил, что разбился на скачках в Пасхальный праздник, и все. Тогда монах напрямую: подпругу ему подрезали, потому и разбился. Рухнул перед ним Павел на колени, зарыдал: сил моих нет носить это бремя, освободи, отче! Монах изрек: перед Господом будешь ответ держать, а перед людьми только большая жертва тебя избавит от груза. Какая жертва, отче? На все Господь, он подскажет. И отправил Павла домой. В тот год и случился пожар.

Ну, потом революция сделалась, война, и Павла Петровича призвали, воевал за белых, потом за красных, все смешалось. Только вроде утряслось, продрозверстка, под веник голик заметали сусеки, семенное зерно и то забрали. К Паше темной ночью приехал человек, до утра проговорили, назначили его старшим в волости по восстанию. А через день депешу привезли, арестовывать коммунистов и актив. Павел все исполнил, собрал людей надежных, посты установил. А на другой день всех восставших увели с отрядом Гриши Атаманова, с февраля до глубокой осени гонялись они за красными и красные гонялись за ними, с наступлением холодов не выдержал Павел Петрович, пришел в материн дом, где семья жила, там его и взяли.

Хомяковский и его к стенке ставил, наганом бил по затылку, но общество заступилось, памятуя его жертву своим домом для ради народа, а всем карателям дано было указание с людским мнением поаккуратней, все-таки восстание кой чему власть научило, да только народное возмущение и учит правителей. Дали Павлу Петровичу пять лет, отбывал на лесозаготовках, вернулся сильно исхудавший и присмиривший, но вдруг воспрянул, опять красный лес привез и дом рубить подрядил бригаду. В сельсовет вызвали, поинтересовались, на какие капиталы строительство, он отвертелся, соврал что-то, а на самом-то деле сестра золотые монеты царской чеканки нашла в подполе родительского дома, Петр Михайлович запасливый был, да сгинул, не успел сказать про заначку. Сестра чистая душа, не скрыла, отдала братцу. Дак вот, он на том же самом месте, поперек приметам, возвел дом, такой же большой, только крышу уже не тесом, а железом покрыл.

И тут опять смятение на душе, как-то глянул на сына своего и ужаснулся: до невозможности похож на деда Петра Михайловича, и даже взгляд такой же. Невзлюбил парня, жене ничего не говорил, а сестре своей Анне покаялся, что не может больше сына видеть и она сдогадалась: отдай мне парня, все равно одна живу, вместе веселей будет. Отдал, да так отдал, что годами не встречался, избегал. Сестра против отца слова парнишке не говорила, но он чувствовал, что не след на глаза лезть, с матерью виделся, а отца не знал. Так и жили в одной деревне, как будто чужие.

Парень выучился, работать стал в колхозе, потом война, после демобилизации женился, так вместе с теткой и жили, а лет через пять она повела его к Павлу Петровичу, к отцу, то есть. Сказала, что зовет. Павел Петрович ее попросил уйти. Да, жена его к тому времени померла, дочка замуж вышла в соседнюю деревню. Сын ничего такого не заметил, видит, что лежит отец в постели, все прибрано, не скажешь, что болеет. А он уж при смерти. Так понять можно, что принял яду. Вот тут все сыну и рассказал, покаялся, велел после его смерти в дом перейти, мол, по праву.

Что смотришь? Отец мой и дед твой. А что фамилия другая – на мамину фамилию меня переписал, когда к тетке отправил. И дом тот, и память о нем в этом доме. У гроба я плакал, как ребенок, так жалко было исковерканную жизнь отца и свою тоже, но ничего не попишешь, я обещал ему тебе все рассказать, когда взрослым будешь, чтобы хоть сколько-нибудь понятия имел. Вот, наследуй, горькая память, а наша. Другой нету.

2009 год

Про Максима, инвалида и говоруна

Зенитчики еще не успели как следует окопаться, только развернули орудия и перенесли с полторки ящики со снарядами. Максим рыл окопчик, безнадежно ковыряя лопаткой мерзлую землю. Друг Агафон со стороны с усмешкой смотрел за возней своего товарища:

– Макся, тебе так до дня победы не вырыть. Ты не долби, ты режь, оно лучше выходит.

– Не режется, тут вроде солонец, лопата вязнет.

Агафон взял у него инструмент, сделал несколько движений, согласился:

– Да, земляца попала тебе... Сам выбирал.

– Одно только думаю: хорошо, что не могилу копать, все-таки окопчик помельче.

– Не каркай! Переходи на мое место, я дивно вырыл, и грунт у меня податливей.

Максим вылез из неглубокой лунки, достал портсигар, полученный в подарок из посылки работниц тюменской овчинной фабрики. На алюминиевой крышке подержанной уже вещи красовалась точками выбитая надпись «На память от Косты». Мужики решили, что портсигар сдал

в посылку или демобилизованный по ранению, или солдат той мировой, потому что на обратной стороне коряво нацарапано «Германский фронт». Закурили.

Только чуть зарилось. Ночь не отступала, и сизый сумрак неуютно обволакивал душу. Максим всякое время суток сравнивал со своим, сибирским, и не находил ничего похожего. Вот и этот рассвет был незнакомым и чужим.

– Рождество сегодня, – горько сказал Максим, вспомнив, как дома встречали это утро. – Пока не закрыли церкву, всей семьей ходили на службу. И отец, Павел Михайлович, и мама, и нянька Анна, и Никита, его убили ланись.

– Когда убили?

– В прошлом году, осенесь.

– Так и говори, а то – ланись. И осенью, а не осенесь, нерусь!

– Пошто нерусь, русский я.

– А почему говоришь так?

– У нас все так говорят. Я тоже не шибко грамотный. В младшую группу ходил зиму, учился, потом надо было в среднюю, а отец сказал: «Макся, ты не ходи в школу, в средней группе ребятишек будут кастрировать». Я и не пошел.

Агафон тихонько смеялся:

– Ты, Макся, за яйца свои пострадал. Мужик толковый, будь грамотёшка – отирался бы где при штабе, не копал бы Россию.

– Не-е, мне в штабе не усидеть, я бы брякнул что-нибудь про начальство, и поехал в штрафбат, как наш командир.

– Жалко мужика.

Новый командир батареи капитан Степура крикнул издалека:

– Не сидеть, окапываться!

Максим привычно загасил окурок, втопав носком сапога в мерзлую землю. Агафон тоже встал:

– Переходи в мой окоп, вон, у второго орудия.

Максим нехотя пошел, волоча винтовку и лопату.

Скоро должно было вставать солнце. Он сел в почти готовый окопчик и грустно смотрел на восток. Место появления светила обозначилось обширным сиянием, но цвета были не те, к которым он привык. Восход всегда притягивал его: и на весенней пашне, когда суровый отец поднимал чуть свет; и на раздольных лугах родных афонских сенокосов, потому что утренняя кошенина самая наилучшая для сена; и на жатве, пока не обдуло ночную прохладу, надо наострить серпы и поправить вчерашние спешные сулоны урожайных и крепких снопов. Тайнственная сила самого жизнеутверждающего явления завораживала его, первое появление солнца было сигналом к новому дню.

Несколько крупных точек на мгновение опередили солнечный луч, и Максим узнал самолеты. Гул появился чуть позже. Это бомбардировщики. Должны быть наши, но по очертаниям и особенностям звуков он понял, что противника. Похоже, отбомбились, домой идут. Высота приличная, и курс чуть в стороне от батареи. Над ними, как воробьи над коршуном, зависли истребители сопровождения.

– Воздух! – заорал капитан Степура, и бойцы переглянулись.

– Товарищ капитан, это не наш воздух, эропланы разве что над четвертой батареей пройдут, – спокойно уточнил старшина Моспанов.

– Отставить разговоры! Орудия к бою!

– Какой бой, нам их сроду не достать!

– Пушай себе летят...

– Товарищ капитан, не надо их дразнить. Давайте пропустим, все равно не собьем, только себя обнаружим, – бубнил старшина.

– Это что за собрание!? Что значит – пропустим!? Я для того сюда поставлен, чтобы уничтожать самолеты противника! Орудия – к бою!

Максим подбежал к ящикам со снарядами.

– Каким стрелять будем?

– А хрен его знает! – ответил командир орудия сержант Мяличев. – Их никаким не достать.

Капитан Степура отдавал команды зычным голосом, то и дело поднося к глазам бинокль. После команды «огонь!» зенитки вразнобой закашляли, выплевывая горячие гильзы. Максим видел

разрывы, которые не могли даже напугать летчиков. Сидевший на радиии рядовой Пащенко вдруг встал и крикнул:

– Товарищ капитан, вас первый к аппарату!

Капитан побледнел, услышав отборный мат полковника, Максим присел на ящик после его команды прекратить огонь. Но было уже поздно. Два самолета выпали из строя и стали скатываться прямо на голову Максиму.

– Вот теперича действительно воздух, – хохотнул он и полез в окопчик Агафона.

Самолеты выбросили пять мелких бомб, непонятно, почему не использованных на основном задании, и стали набирать высоту. Зенитки молчали. Капитан стоял, втянув голову в плечи. Старшина Моспанов свалил его в свой окоп. Бомбы разорвались дружно, осыпав землей и осколками все вокруг. Одна разнесла Агафона, попав прямо в обменянное с Максимом место. Еще одна повредила орудие. Осколок навывлет пробил живот капитану. Сержант Мяличев чуть дернулся на станине орудия и затих. Тишина наступила страшная. Максим вскочил и, кинувшись в сторону Агафона, упал, пробежав несколько метров. Воронку на месте своего окопа он успел увидеть, но сильная боль в ногах уронила на землю.

– У тебя же ступня пробита, едрена мать, – радист Пащенко присел на корточки и тупо смотрел на рваное отверстие в сапоге, из которого сочилась грязная кровь.

– Сымай сапог, нехрен сидеть сиднем.

Пащенко немного повозился и возразил:

– Не снять, резать придется.

– Сапог губить не позволю, сымай.

– Не позволит он! Тут дыра насквозь.

Максим с детства боялся собственной крови, и теперь, едва глянув, сомлел и повалился на бок. Пащенко разрезал голенище и, отбросив сапог, начал неумело делать перевязку.

– Капитана сразу осколком навывлет, так в страхе и помер. Ему полковник вломил, что он обнаружил батарею. Нас, говорит, для важного дела разместили. И Ендырева в клочья разорвало, с которым ты окопом сменялся. Толковый у тебя обмен получился.

Максиму было неловко, будто он виноват в гибели товарища. Пащенко приспособил к забинтованной ноге разрезанный сапог.

Артиллерийский обстрел начался внезапно, видно, сообщили летчики расположение батареи. Пащенко вместе с шофером полуторки, которая привезла снаряды, оттащили Максима к машине и затолкали в кузов. Он лежал на спине, подсунув под голову кусок брезента. Рана ныла, он с трудом поднял ногу, холодная кровь скатилась по штанине под задницу и под спину, боль чуть утихла.

Солнце уже встало и светило ему прямо в глаза. Такое яркое солнце! Он знал, что надо просыпаться, но какой-то мерзавчик внушал ему: «Поспи еще, мать разбудит». И действительно, мама встала на лестницу, черенком легоньких деревянных грабельцев нащупала в чердачной темноте его тщедушное тельце и легонько побеспокоила: «Вставай!». Максим очнулся, мамы не было, было раннее рождественское утро в украинской морозной степи, нехорошая тишина, нарушаемая стонами мужиков, кузов полуторки и терзающая боль в ноге. Кровь опять стекла по штанине, неприятно похолодив спину. Максим покричал, но никто не ответил. Он больше всего боялся страха, но ощущал только тоску. Если не найдут, то изойдет кровью и замерзнет. Найти могут только случайно, потому что сейчас не до разбитой батареи. Страшно не было, но хотелось плакать.

Его нашли действительно случайно в вечерних сумерках. Двое бойцов пытались завести полуторку, но не смогли, раненого Максима не сразу отодрали от деревянного кузова: набрякшая кровью шинель пристыла к доскам. Его ввели и тащили долго, один боец предлагал бросить, но второй не согласился, так и доволокли до расположения.

Как попал в госпиталь, Максим не знал, очнулся от боли в раненой ноге, попросил пить. Солдат из старших возрастов в застиранном сером халате сказал, что после операции вода не полагается, и вытер его губы мокрым грязным полотенцем.

– У меня нога болит шибко, – сказал Максим. – Ранило меня.

Санитар засмеялся:

– Не может у тебя нога болеть, потому как ее нету.

Максим не сразу понял.

– Почему нету?

– Отрезали. Гангрена у тебя началась. Отпластнули по самое колено.

– Врешь! – Максим хотел было вскочить, но голову обнесло, и он опять плавал по деревенским старицам, ставил фитили и морды, вытрясал в лодку лобастых налимов, длинных шуругаек и плоских карасей. Все тот же мерзавчик подсказывал ему, что не надо бы смотреть во сне рыбу, это к болезни, но рыба просто перла в его снасти, и Максим ничего не мог с этим поделать.

Через день врач сказал, что отправляет его в тыловой госпиталь, потому что не уверен, покончено ли с заражением:

– До санпоезда доедешь, а там помереть не дадут, у тебя еще полметра в запасе.

– Каких полметра? – не понял Максим.

– Ноги до туловища! Простых вещей понять не могут!

Его сняли в Саратове и в госпитале резали еще два раза, пытаюсь сохранить хоть сколько-то конечности и опасаясь общего заражения. Учился ходить на костылях, падал, разбивал культу, плакал по ночам, тяжело задумался о жизни после случая с соседом по койке, веселым парнем с Волги, которому отрезали обе ноги под самый корень. Он шутил, что на обувь теперь тратиться не надо, что на танцы время терять не будет. Утром попросил ребят посадить его на подоконник. Максим тоже помогал. Парень сидел недолго и молча опрокинулся наружу с третьего этажа.

Максима никто в деревне не ждал, кроме матери. В свои тридцать пять он несколько раз женился, но все как-то не получалось. Отец сначала ругался, потом попустился, Максим погуливал, пока не забрали на фронт. Теперь отгулял. Для деревенской работы не годен, другой не знает, и грамоты нет.

Деревня встретила его нерадостными новостями, схоронили от скоротечной болезни отца, Павла Михайловича, и старшую сестру Анну, няньку, как звал ее Максим. Брат Матвей в первый вечер не пришел, сказался больным, мама наскоро собрала стол, пришли демобилизованные раньше калеки Антон, Киприян, Федор Петрович. Выпили бражки.

– Мама, а про отца-то чё не писали. И про няньку.

– А кто писатели-то, Макся, я немтая, а Матвей все по больницам.

– Так и ссытся?

– Да вроде проходит.

– Знамо, пузырь – он понохачей самого Гитлера капут чувствует.

– Макся, при людях-то!

– А то люди не знают, что братец еще до первой немецкой артподготовки в штаны прудить начал. Эх, мать, а чё бы мы делали, если б всем миром под себя мочиться стали, вплоть до товарища Сталина?

Вечером натопили баню, Максим неумело подставил под культу деревяшку, и, не привязывая ремней, поковылял мыться. С непривычки сильным жаром охватило голову, пришлось спуститься на пол и приоткрыть дверь. Подложив под голову веник, он прилег на порожек, лоя свежий воздух через приоткрытую дверь. Кто-то закрыл собою узенький вход в предбанник, Максим поднял глаза: Матвей.

– Здорово, брат. С возвращеньцем.

– Здорово. Проходи, парься.

После бани Максим по праву старшего сидел на лавке в кутнем углу, это место отца. Лишний кусок штанины белых домашних кальсон он подогнул и привязал нянькиным пояском. Пустой стол, вот тут сидел Никита, тут нянька, тут отец.

– Жениться тебе придется, Макся, – сказал Матвей. – Я отделился, матери одной тяжело.

– Ага, прямо седни и начну, вот ветер стихнет.

– Ты смехуечками-то не отделяйся, бабья полдеревни слободного, мужиков перебили.

– Мне жениться нельзя, я еще до войны не три ли раза под венец ходил, да только на месяц и хватало. Терпеть ненавижу, как бабы начинают руководить. А теперь и вовсе, на чужой крови живу.

– Пошто? – испугался Матвей.

– Своя вся истекла, мне немецкую лили, сам на каждом флаконе видел: фамилия Донор написана. Так что не до женитьбы, хоть бы до лета дотянуть.

– Ох, и болтун ты, Макся, каким был, таким и остался, – вздохнула мать.

Исполнительницей от сельсовета прибежала невысокая молоденькая женщина, вошла в избу, поздоровалась, насухо вытерла влажные от осенней слякоти калоши на валенках.

– Ты Максим Онисимов будешь? Распишись вот в извещении, что завтра явиться в район на комиссию.

Максим расписался коряво.

– А на чем являться?

– Подвода пойдет, вас тут с десяток изувеченных.

– На вожжах не ты ли сидеть будешь?

– Нет, – хохотнула женщина. – Иван Кириков, он хоть и безрукий, но с такой командой управится.

– Чья она, мама? Вроде как не афонская?

– С Горы приехала, замуж туда выходила, да мужика убили, вернулась с двумя ребятишками.

– А пошто к нам, родня тут какая?

– Седьмая вода на киселе. Бьется бабенка, отец родной где-то в Поречье погуливает, всю войну просидел в каталашке, теперь вроде завхозом в больнице, так сказывают. А ты не глаза ли положил?

Максим стушевался:

– Да так, хорошая бабенка, веселая.

Мать в кути забрякала ухватами:

– Ты с ума не сойди, у ей двое, ты будешь третий, тоже дите, только что под себя не ходишь.

Вот веселуха-то будет!

– Ладно, собери мне что в дорогу.

Рано утром у колхозного правления собрались все инвалиды, которым следовало явиться в районную больницу. Курили, подсмеивали друг над другом.

– Григорья с Эмилем в передок посадим, у их обеих ног нету, Максю с Васькой Макаровым по бокам, посередке Ванька Киричонок. – Ему непременно надо посередке, потому как вздремнет со хмеля и под фургончик свалится, тогда и ноги может лишиться дополнительно.

– Ты меня не трожь! – витийствовал Кириков, маленький шустрый мужичек без левой руки, но ловко запрягавший пару лошадей. – А то ведь я могу и поперед из района рвануть, вот тут поползете до дому, как фриц из Сталинградского капкана.

Ванька руки лишился под Сталинградом, в деревне уже обжился, после признания Сталинградской битвы поворотным сражением во всей войне он особенно оживился, будто сам лично замыкал кольцо и брал фельдмаршалов в плен. Бывший хороший тракторист, отлученный от любимой «колесянки», он долго привыкал к лошадям, смирился, но стал попивать. В деревне, где выпивали только по случаю, мужик навеселе среди недели скоро стал посмешищем, за ним, тридцатилетним, крепко привязалось обращение и старого и малого: Ванька Кирик, Киричонок. Деревня, у неё свои законы.

Комиссия в районной больнице с участием офицера военкомата, щеголя–капитана, проходила быстро. Максим только кивал в ответ на самые простые вопросы, но когда пожилая женщина из собеса спросила, где он работает, Максим растерялся:

– Был в колхозе, пока нет работы. Да я и на ногах-то плохо стою.

– На ноге, – уточнил хирург, – вторая нога у вас почти в порядке.

– На ней отсутствует икрная мышца, – приподняла очки терапевт.

– Ну, не совсем, – возразил хирург. И Максиму: – Ну-ка, пройдите.

Максим тяжело встал с табуретки, установил на крашеном полу деревяшку и сделал несколько шагов без костыля. Пересилив боль, он улыбнулся:

– Вот, помаленьку хожу.

– Можно дать третью группу, – повернувшись в их сторону, произнес офицер военкомата, до этого лепетавший с медсестрой регистрации.

– Он нетрудоспособен, Роман Дмитриевич, я за вторую.

– Нетрудоспособен, а, по моим сведениям, жениться собрался.

Максим хохотнул:

– Так оно, товарищ капитан, что для женитьбы необходимо, немец мне милостиво оставил, спасибо ему.

– Награды есть? – спросил капитан.

– Медальёшки, – равнодушно ответил Максим.

– Надо было воевать лучше, были бы ордена, – посоветовал капитан.

– Вот ты точно роты водил в рукопашную атаку! – резко выпалил Максим. – А я на продскладе винной бочкой себе ногу отдал! Да ежели бы я херово воевал, ты бы сейчас в хромовые сапожки не заглядывал, как в зеркальце, а у бургера свиней пас!

– Товарищ инвалид! Ведите себя! – капитан вскочил.

Максим продолжал сидеть, его била дрожь, пот залил глаза:

– Я пока еще только калека, инвалидом вы меня признавать не хотите, потому что за это копейку платить надо.

Он встал и, тяжело припадая на деревяшку, вышел из кабинета, оставив на крашеном полу струйку яркой крови из лопнувшего шва на культе.

После обеда процедура закончилась, всем дали третью группу инвалидности, вторую только тем, у кого не было обеих ног. Но самое непонятное было в строгом наказе главного врача в апреле всем прибыть на перекомиссию.

– Правда, мужики, чо до апреля изменится?

– Какой ты бестолковый, Киричонок, и отец твой такой же был. – Максим уже успокоился и не мог упустить возможности подначить. – В апреле весна, все живое в рост прет, ты же знаешь, что ни корову, ни бабу в это время не удержишь, щепка на щепу... Вот и возникли у советской власти опасения, что рука у тебя вырастет, а ты, сволочь подкулачная, сокроешь сей факт от любимого государства, и будешь продолжать огребать ежемесячно свои полторы сотни.

Василий Фёдорович, родственник и грамотный человек, шепнул Максиму:

– Ты придержи язык, а то не посмотрят, что инвалид, подметут.

– Зачем я им? Кормить задаром.

Василий засмеялся:

– Ага, пельмени для тебя все комсоставом будут лепить. Да подведут к ближайшей стенке и шлепнут, а потом протоколом тройки оформят. Эх ты, фронтовичек!

В субботу, напарившись в бане, Максим помыл и выскоблил ножом деревяшку, надел чистую рубаху и сказал матери:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

А сам мимо Иванова дома подался в другую сторону, где жила Мария Горлова с ребятишками. Осторожно с мужиками поговорил, не хаживает ли к ней кто – сказали, что нет, не хаживает. Подошел к избенке, выдернул верхнюю жердинку в воротах, через нижнюю с трудом переволок деревяшку, лампа в простенке горит, но дверь уже заперта. Неловко погромел щеколдой, из избы кто-то вышел.

– Хозяйка, открывай, а то ветер сёдни холодный.

– Не открою, не признаю я.

– Максим Онисимов, извещение ты мне приносила.

– Ну, дак я тебе его отдала. Какой спрос?

– Беда с бабой! К тебе я пришел, пусти хоть на минуту, култышку перевяжу, а то не дойти до дома.

Крючок сбрыкал, отпустив дверь. Максим следом за хозяйкой вошел в избу. Чистенько прибрано, хоть и бедно. Русская печка в треть избы, стол, три табуретки, койка. С полатей свесились две стриженные головы, Володька и Генка, он уже знал их имена. В избушке этой раньше жили Заварухины, Максим тут бывал. Мария прошла в кутный угол, села на залавочек.

– Бери табуретку, переобувайся.

Максим снял деревяшку, перемотнул портянку, крови не было. Отложил протез в сторону.

– Посижу маленько. Ты пореченская родом?

– Там родилась, потом здесь в няньках жила, на семнадцатом году вышла за парня из Маслянской МТС, он тут хлеб молотил. Вот родили двоих, его забрали и под Сталинградом убили, деваться некуда, подалась к своим, хоть и не большая родня, но не бросили. Живу вот.

– В колхозе робишь?

– В колхозе.

– Тяжело одной-то?

Она вздохнула:

– Всем тяжело теперь. Тебе вот тоже не сладко.

– Да я привыкну, мозоли набью, и тогда хоть бегом.

Оба молчали, ребятишки на полатях тихонько посапывали.

– Мария, давай сойдемся с тобой. Я работать начну, пенсию вот назначили, полегче будет.

– Нет, на двоих детей никто ко мне не пойдет, и ты тоже так, баловство одно. Не стоит на разговоры.

Максим приобиделся:

– Отчего это вдруг баловство? Мне тридцать пять, куда еще? Хватит, набаловался.

– Сгоряча это ты, Максим, посмотри, сколько девок осталось без женихов, а вдов молоденьких, бездетных! Своих народишь, зачем тебе чужие, ну, ты сам подумай!

– А мы с тобой разве не родим? – осмелел Максим. – Выправится жизнь, и дети вырастут. Другое дело, если брезгуешь, не подхожу тебе, так и скажи.

– Господи! – Мария заплакала. – Я пять лет уж мужского разговора душевного не слышала. Не тревожь ты меня, Богом прошу. Иди домой, дай мне срок подумать.

Максим озаботился:

– Ты, если обо мне справки наводить, то не теряй время, я тебе сам во всем признаюсь. Зло не употребляю, табак курю, приматериваюсь, вредным бываю. Хуже уже никто не скажет.

– Иди до завтра, я хоть ребятишкам все обскажу, большие ведь. У тебя нигде нет нагулянных?

– Да не было до войны, и сейчас вроде похожих не встречал. – Он пристегнул деревяшку, надернул фуфайку, тяжело встал.

– Иди, я посвечу в сенках, там одна плаха скачет.

– Переберу пол, это я в первый же день.

У самых воротец Мария спросила:

– Максим, а ведь ты на меня сразу посмотрел, когда и с исполнительным к вам прибежала, правда?

– Как есть, правда. Я и матери сказал.

– Ладно, мне утра вставать рано, иди тихонько.

Мать не одобряла решение Максима перейти к Марии, да и Матвей пытался вмешаться, в основном напирая на ребятишек. Большие уже, семь и девять, с такими и здоровый мужик горя хватит. Максим отмалчивался, собрал в армейский вещмешок кальсоны, рубахи, гимнастерку. Поздним ноябрьским вечером ушел в избушку Марии.

Когда ребятишки на полотах успокоились, она ушла за занавеску в кутный угол:

– Ложись, я потом лампу погашу.

Ночь высвечивала худую фигуру незнакомого мужчины. Она присела перед койкой.

– Ты культи моей бояться не будешь?

– Привыкну. Мне к стенке или с краю?

– Ложись к стене.

Он неловко, неумело обнял ее открытые плечи. Кто-то из ребятишек заворочался и забормотал на полотах. Они испуганно притихли, Мария тихонько шептала ему в ухо:

– Пускай они улягутся, а ты обними меня крепко, чтоб дух захватило.

В ноябре ночи длинные, да ребятишкам вставать в школу. Поочередно спрыгнув с полатей и сбегав на улицу, они наскоро умылись под рукомойником. Максим лежал на койке, Мария уже сварила пластанку, жиденький суп с картошкой, нарезанной пластиками, положила с обеих сторон стола по куску хлеба.

Генка первым подошел к Максиму:

– Мне тебя тятей звать или папкой?

Максим стушевался:

– Мать, как лучше?

– Ты отец, ты и решай, – строго ответила Мария.

– Зови папкой. Я своего тятей звал, тоже ничего.

– И я буду папкой тоже, – добавил Володя.

– Ешьте и в школу, – скомандовала мать.

Проводив детей, она села на койку и обняла Максима.

– Я седни с работы отпросилась, если не передумал, ходим в сельсовет.

– Мне и передумать-то некогда было. Успеем еще, день большой, ложись ко мне.

В тот же день в сельском совете их записали мужем и женой. Деревня дня два обсуждала новость, пока не случилась какая-то другая.

2009 год

Братовья

Когда Максиму сказали, что родной брат его Матвей Павлович сильно занемог и даже может помереть, он опешил, с мысли сбился: ведь вчера еще сидели на бревнышках у дома и вспоминали молодость, Матвей даже через чур веселый был, все над Максимом шпакурил, выводил из себя.

– Скажи, Макся, ты с Нюркой Маленькой спал?

– Ак нюшь! И с Нюркой спал, и с сестрой ее Марфой.

– А когда? Ну-ка, вспомни, в каком году это было?

Максим занервничал, он не любил, когда его подначивали:

– «В каком году!». Да я разве всех упомяну. Ну, до войны.

– Врешь. Я в войну к ей похаживал, интересовался про тебя, она отперлась, говорит, и рядом не сидел.

Максим опять психанул:

– Твою мать! Да я ее как сейчас помню, я же азартный был до фронта, а она тюхтя, гундит – нихрена не понять. И пониже пупка у нее большая бородавка, ты себе ничего не натер?

Мужики хохотали, поддерживая Максима, его доводы оказались основательными, Матвей как-то про бородавку не вспомнил.

И вот на тебе, лежит без памяти, баба говорит, ночью забухтел не понять чего, вскрикнул и кинулся с кровати, прямо на пол упал, пена со рта. Сбегали за медичкой, она уколов наставила, утром машину директор совхоза дал, загрузили мужика, как мешок отходов, так без ума и повезли.

Максим сидел на тех же бревнышках, что и вчера, майское солнце согревало, он отстегнул деревяшку, которую носил вместо протеза, привезенного из Омска, уж больно тяжелый и неловкий делали ему протез. Максим через год ездил в Омск на примерку в протезную мастерскую только потому, что дорогу ему сельсовет оплачивал, а он к другу своему фронтовому заезжал, вспоминали, выпивали и плакали о молодости и друзьях. Протезов у него в казенке висело штук шесть, а носил самодельный, выстроганный из березы. С торца приколачивал кусок грубой резины, чтобы не скользить, деревяшка оставляла след что на снежной дороге, что на грунтовой, потому сынишка по заданию матери всегда легко его находил, если мать подозревала, что Максим где-то остаканился.

Они с Матвеем хоть и братовья, но не шибко роднились, Максим на восемь лет старше, до войны раза три женился, да все не впрок. Первую свадьбу сыграли по-настоящему, правда, без венчания, к тому времени церковь уже прикрыли, а попа отправили на Урал лес пилить, но отец Павел Михайлович благословил, невесту принял. Только Макся на первой же неделе заявил молодухе, что жить с ней не будет, мол, не рассчитывай, а сам на вечерки стал похаживать, после ужина, бывало, скажет:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

И утянется, до первых петухов прогостюет, потом явится. Отец как-то и встретил его:

– Ты где, сукин ты сын, шлялся? У тебя жена или кто? И чтоб я больше не слышал, что она ночью зубами от горя скричит! – Да и вытянул женатика широким сырмятным ремнем так, что рубаха к телу прикипела, Максим взревел, выскочила нянька Анна, старшая сестра, запричитала над кровью, а просеченную рубаху снять не может, пришлось самогонкой отмачивать, заодно и пострадавшему налила стаканчик.

Потом еще пытался обзавестись, да, видно, не судьба, одна сама ушла, другую проводил, так что на фронт холостячком отправился, это на четвертом-то десятке.

А Матвей дома остался, хотя его год призвали сразу: болезнь у него приключилась какая-то, не то ноги отнимались, не то мочился неудержимо, Макся так и не понял, когда вернулся из Саратовского госпиталя без ноги уже после победы. Матвей жил самостоятельно семьей, работал в колхозе на завидной должности объездчика, соблюдал колхозную собственность, чтобы мужик где лишний прокос для свой коровки не сделал, чтобы баба колосков в подоле с поля не принесла, чтобы ребятишки не мяли хлеба, когда бродили по первым от деревни лескам в поисках сорочьих гнезд, саранок и пучек.

Максиму определили третью группу инвалидности, она называлась рабочей, потому зимой он ходил за овечками, а с весны до глубокой осени ночами сторожил оставленную в поле колхозную технику, чтобы кто не побаловался. При нем была лошадка с ходочком, как и у брательника, но с братом совет не брал, а когда мать померла, и вовсе чужими стали.

За Максимом закрепилось прозвище «Родной», в деревне редко кто без клички живет, Максим тоже остер на язык, многих наградил кличками, да и сам не избежал. Макся свое прозвище не любил, обидное оно, оскорбительное, пошло от частушки, которую кто-то во злобе сочинил: «На горе стоит осина...», дальше такая гадость, про холстяную рубаху: «Он в рубахе холстяной», и заканчивается ехидно: «Помогай, Максим родной!». Частушку пели, Максим иногда с юмором воспринимал, а однажды братец исполнил, едва его отобрали, за горло ухватил с обиды, мог и не упустить.

Вот Пашку Лукина он перекрестил, прилипла кличка, как новое имя. Дело было в выборы, выбора, как в деревне говорят, большой праздник, в клубе торговля сладостями и колбасой, к тому времени стали уже пиво бочковое завозить, вовсе колготня. Кто «отдал свой голос», отоваривались в очередь и садились в зале на скамейки вдоль стен, встречали входящих, обсуждали. На стенах портреты висят, члены и кандидаты, Ворошилов тоже, из-за медалей лица не видать. Пришел голосовать и Павел Лукин, механизатор, росточком мал, а до работы жадный, когда целину осваивали, месяцами в тракторе жил, все пахал, дали ему за это аж две медали, одну «За освоение», другую «За доблесть». Паша на выборах явился в пиджаке с медалями, да еще значки ГТО и ДОСААФ нацепил. Макся тут же сидел, сказали, что толи концерт будет, толи комедию какую покажут. Когда Паша вошел в зал, Макся аж подскочил:

– Ты гляди, ну чисто Ворошилов Пашка-то!

Все, с тех пор спроси Лукина, не каждый скажет, а Ворошилов – пожалуйста, это Пашка. Пашка не обижался, даже помогал Максиму крышу на избе дерном перекрыть. Давно это было. Максим тяжело вздохнул.

Вон Манаэль идет, с утренней разрядки в конторе совхоза, инженер. Максим хоть и пострадал на фронте, но к немцам относился без обиды, и старый Яков Кауц, и школьный учитель безногий после трудармии Эмиль, и сосед Эммануил Григорьевич, по-уличному Манаэль, были почти товарищи, и по рюмке доводилось поднимать. Манаэля он сильно уважал, вот безграмотный совсем, а любую машину соберет и отрегулирует. Когда Максиму первую инвалидную мотоколяску дали, что-то случилось, скорости перестали включаться. Манаэль велел прикатить к мастерской поломку, а вечером на ней приехал, едва не раздавив, потому что весу в нем было не меньше восьми пудов, и показал Максиму, что вот этим рычагом надо включать и выключать, а скоростей сколь вперед, столь и назад. Смех, конечно, но Максим помнил.

– Доброе здоровье, Максим Павлович!

– Здорово, Манаэль Григорьевич!

– Что с братом случилось?

– Не знаю. Пал с кровати и память отлетела. Не от того, что пал, наверно, как думаешь?

– Да уж не от того, понятно. Поедешь проведовать?

– Позжа, потом, дай оклематься, а сейчас лежит, как чурка, кого около его делать?

– Макся, а если помрет?

– Ну, стало быть, не жилец. Да нет, отойдет, не израненный, не изробленный, на добрых кормах всю жизнь. Да и моложе меня на восемь годов, он даже до пенсии не дожил.

Эмануил Григорьевич присел на бревно:

– Максим Павлович, а ты смерти боишься?

Максим хохотнул:

– Я только увижу, что она по нашей улице идет, деревяшку надерну и на огороды, и лягой прямо на Голую Гриву, там спрячусь у тетки Апра辛ьи.

– С Геннадием помирились?

– Не буду, и чтобы не рисовался в наших краях, а то пришибу.

– Так обидно?

– Ак нюшь, какую статью подвел, засранец!

На Троицу, в престольный праздник, после поминок на кладбище собрались за столом у двоюродного брата Владимира Прокопьевича, совхозного бухгалтера, считай, все свои: Максим, Матвей, Иван Лаврентьевич, Паша Менделев, все с бабами, и Генка, он с Валентиной, сестрой покойной жены Максима, живет, тоже тут. Генка не ловкий парень, по пьянке всякую чушь несет, и вот после третьего стакана стал он разоблачать Максима, что ногу ему не в бою оторвало, а пробило шальной пулей, потому что он ее из окопа высунул, воевать не хотел. Можно было и пропустить, а Максим помушнел, схватил граненый стакан со стола и метнул в Генку. Тот

увернулся, это его и спасло, стакан попал в простенок и рассыпался в мелкую крошку. Максим еще что-то сгрёб, но на руке повисли, потом его вытолкали и увели домой.

– Да я на собственной крови примерз к кузову, в полуторку меня забросили после ранения, а там бой, не до меня, а как бой ушел, и все, пропадай. Ладно, что похоронная команда проходила, постонал, двое вернулись, видят, что кровь льдом взялась, один другому говорит: «Оставь его, все равно пропадет». А второй совестливый оказался: «Нельзя», – говорит. – «Седни я брошу, завтра меня кинут». И тащили меня километра два.

Эмануил встал:

– Пойду позавтракаю, и в поле, пшеницу начинаем сеять.

С Матвеем они еще один раз сцепились, из-за травы, Максим каждое утро, возвращаясь с дежурства, подкашивал свежей травы как бы для лошади, но получалась пара хороших навильников, и корове хватало, и теленку. Вот с этой поклажей и остановил Максима колхозный объездчик и учетчик Матвей Павлович:

– Ты, Макся, дуру не гони, кажанный день возишь по центнеру, на всю зиму запас. Это все, – он указал на траву в телеге, – выбросишь телятам на базе, я прослежу.

Максим аж подскочил:

– А вот это ты не видел?! – Он выбросил вперед мослатый кукиш. – Ишь, угодник колхозный, начальству двойной тракторной тягой опять по зароду разнотравья отпустишь, а мне свою скотину шумихой да осокой кормить? Хрен тебе, и твоим телятам, все равно они задрищутся.

Матвей метался верхом на кауром мерине, нароя выдернуть Максима из телеги, потом соскочил с лошади и они сцепились. Максим поцарапал брату лицо, Матвей несколько раз ударил брательника кнутом. Максим отбивался сидя, крыл матом:

– Бей, твою мать, бей на убой, что фашисты не добились. Ты всю войну в бутылочку ссал, дак я тебя сейчас кровью умою.

Матвей вовремя одумался, вскочил на коня, отъехал в сторону:

– Максим, не лезь на рожон, сгрузи, как сказал, а нет – посажу.

– За два навильника?

– Колхозная трава. Посажу, есть такой закон.

Максим согласно кивнул:

– У вас на всякого человека статья найдется, это известно. А траву привезу домой, и не вздумай, брательник, с понятами придти, литовкой всех перережу, во мне кровь чужая, так что за себя не отвечаю.

Матвей невпопад спросил:

– С чего это у тебя кровь чужая?

– А в госпитале мне лили, видно, трофейная, на каждом флаконе фамилия «Донор» написана. Ты бы побоялся меня.

На том разошлись, но Матвей все же написал жалобу, бригадир Иван Моряк приезжал, посмотрел, пожалел Максима:

– Матвей в партию вступил, слышал? Хочет жить по правде. Ты его не зли, времена хоть и переменялись, но можешь сбрыкать за разбазаривание общественной собственности.

– Да поди не посадят меня, Иван Васильевич, я же калека, робить не могу, даром кормить будут.

– Ага, пельменей для тебя начальник лагеря будет лепить. Послушай меня, уймись.

Максим унялся, но с братом долго не разговаривал, до беды. После войны он женился, взял молодую бабенку с двумя ребятишками, все его отговаривали: зачем тебе такая обуза, вон сколько девок без женихов, сколько вдов одиноких, бери – не хочу. А он стал к Марии похаживать, и сам удивлялся: все глянется, и в избушке порядочек, и работающая в колхозе, и с виду хоть и невелика ростом, но ладная. Сошлись, в сельсовете оформились, парнишку она родила, но только десять годков и пожили, свернула ее нехорошая болезнь, вьюжным мартовским днем свезли на кладбище. Матвей сам пришел, помогал гроб делать и могилу долбить. Без слов помирились, горе сводит.

Опять Максим начал перебирать, за два года не пятерых ли баб приводил, только ничего не получалось, отвозил обратно. Потом присоветовали ему в соседней деревне бабочку, бездетная, покладистая. Съездил, ее с сестрой на смотрины привез, сговорились. Парнишка всех мамами звал, а тут не может себя перебороть, месяца три, наверно, мучился, пока назвал. Потом легче пошло, привязался к женщине и она к нему, своих-то никогда не было. Через год загулял Максим, приехала какая-то краля, а он быка в Заготскот сдал, деньжонки есть, три ночи дома не ночевал.

Сынок явился в ту избу и сказал, что уходит он вместе с мамой в ее деревню. Максим заплакал и пришел домой, с тех пор жили более-менее...

Опять про Матвея думка, какая семья была, отец Павел Михайлович, старший брат Никита, нянька Анна, мама Зоя Степановна, да они двое. Бывало, до колхозов, любую работу ломали, отец никому не давал покоя и сам стоя спал. Сенов ставили по стогу на голову, а коров держали восемь, лошадей тоже восемь, все с приплодом, овечек никто не считал. Зато зимой благодать, глызы почистил в загоне, сена напихал в кормушки, на Гавняшку коров с молодняком проводил на водопой, взрослых лошадей в поводу сводил, молодых опасно отпускать, в бочке воду привозили – и свободен. Бабы шерсть теребят, прядут или вяжут что, а мужики с осени сено возят, по теплу к посевной готовятся.

Макся и восстание помнит против советской власти, когда коммунистов и сочувствующих на пещни надевали, а потом восставших мужиков расстреливали и ссылали навечно. И как Колчак шел, тоже помнит, у них в доме двое офицеров стояли, одному новые сапоги хромовые сшили, он их на стенку повесил, Максим налюбоваться не мог. Когда красные пошли, офицеры на коней и на край деревни, к церкви, Максим думал: ну, все, отступят белые, а сапоги ему достанутся. Нет, взмокший офицер успел заскочить и сорвать со стенки хромочи. Максим таких никогда не нашивал.

Когда красные пришли, вечером подъехал верхом солдат, кричит:

– Хозяйка, молочка криночку не продашь?

Мать сунула Максимке маленького Матвейку, вынесла большую кринку свежего молока. Солдат деньги дает, а она отказывается.

– Деньги примите, – сказал солдатик, как учили, – и запомните, что советская власть даром у народа ничего не берет.

Максим хмыкнул, он того солдатика всю жизнь вспоминал, и когда налогами обложили, и когда в колхоз загоняли, и как пенсию ему назначили за отрезанную ногу, что только и можно было один сапог купить на оставшуюся.

После коллективизации хозяйство упало, от высылки Савелий Степанович, материн брат, спас, он в активе был и первым председателем в колхозе. Война потом подмела всё: отец умер, нянька Анна тоже, Никиту убили, Максим калека, один Матвей был матери на радость. Дом срубил хороший, ребятишек нарожал, мать почитал, не то, что Максим, она ему женитьбы на вдове с сиротами забыть не могла.

Он сидел на бревнышке и прутиком чертил на песке, редкие люди проходили мимо, тихонько здоровались, непривычно тихо им отвечал, без прибауток, без усмешек обычных. Больно и тоскливо было на душе, он почувствовал одиночество, вот двое их от всей породы осталось на свете, а понятия, что одна кровь, так и не усвоили. Нет, надо поехать к Матвею, надо, братовья ведь.

Иван Моряк остановил свои дрожки посреди дороги:

– Максим, убрался Матвей Павлович, только что позвонили из больницы. Я поеду в столярку гроб закажу, а ты дойди до его бабы, скажи, пусть одежду готовят.

Максим дотянулся до деревяшки и долго приспособливал ремень, глаза застило, слезы катились прямо на рубаху, он неумело стряхивал их, неожиданно подумав, что не плакал очень и очень давно.

2009 год

Нюхач

– Ленка-то Безбородихина опять аборт сделала. – Михаил Прохорович бросил на стол пучок свежего зеленого лука, только что с грядки, ходил по заданию супруги Галины Ивановны, ей надо для заправки супчика на завтрак.

– С чего ты взял? Доболташь вот языком, привяжут, присудят моральный убыток, дак будешь знать. – Галина Ивановна толкнула на газовую плиту сковородку с добрым куском топленого сала и принялась крошить лук.

– Я что, слепой, что ли? Глянь в окошко, вон сидит на бревнышке, нахохлилась. – Михаил Прохорович протиснулся за стол, пожевал перышко лука.

– С чего-то она нахохлилась бы? – Галина Ивановна все-таки откинула занавеску. – Ну, сидит и сидит. Да и не хаживал к ней никто будто. Болташь, что и сам не знаешь.

Михаил Прохорович спорить не стал, ему все равно, что там творится с соседкой Ленкой. Девка она молодая, в прошлом годе школу окончила, да не всю, а только сколько-то классов, последний звонок отпраздновали, и пропала Ленка, не появилась дома. Мать ее Евдинья Безбородихина не хлопотала и в милицию не ездила, потому что какая-то Ленкина подружка приезжала из райцентра и сказала ей, что Ленка по большой любви уехала с дальнебойщиком, познакомилась, пока автобус у поста ГАИ ждали в свою маленькую деревеньку Чесночки. С месяц, наверно, путешествовала Ленка, вернулась ночью, сильный скандал был в домишке, только Безбородиха ничего не могла сделать, Ленка так ей и сказала: «Не твое, мамаша, дело...». Никто, конечно, таких слов не слышал, это Михаил Прохорович потом так емко выразился, но сплетки по деревне гуляли не славные, к тому же ближе к осени слегла Ленка в больницу на одну ночь. Это потом дочь Татьяна сказала, она на «скорой» ездит медсестрой, два раза в неделю посещает родителей с мужем на «москвиче» за каким-нибудь пропитанием. Михаил Прохорович вроде никому не сказывал про новость, но деревня все равно узнала, зашептались и захихикали. Евдинья тогда крепко возмутилась, страшила, что в суд подаст, если кто про ее Ленку нехорошее брякнет, так и расценила, что самоходную косилку купит на высуженные деньги да прицепные грабли к ней, ей как раз в хозяйстве только граблей и не хватало. Михаил Прохорович даже смеяться не стал над ее глупостью, сказал только, что он человек довольно подержанный, но, как мужик все-таки, за потасканное Ленино достоинство и простых деревянных грабельцев не дал бы. Евдинья эти слова передала, и она не раз кричала через дорогу, что выведет этого пустобреха на чистую воду.

И с супругой своей Михаил Прохорович вчера рассорился основательно. Он в прошлой жизни, то есть, при социализме, когда в совхозе работал, плотником был, даже столяром, в мастерской оконные рамы вязал и филенчатые двери сколачивал, инструмент разный заставлял прораба выписывать, специалистом был знатным, для районных начальников заказы исполнял.

Званием плотника и столяра Михаил Прохорович дорожил, над людьми, считающими это ремесло простым и пустячным, откровенно издевался, часто повторял нехитрую притчу: «Пришли к хозяину два мужика плотническое дело исполнять наниматься, тот и спрашивает: «А что вы, ребята, можете?» «Да все!» – отвечают. «А конкретно – что?»», – не унимался хозяин. «Можем жерди хомячить и столбы хорохорить». «Добре. А лестницу, к примеру, можете сколотить?». Тут мужики и упали духом: «Вот что не можем, то не можем!». Немудреная история, но помогала Михаилу Прохоровичу отстаивать высоту профессии.

А как на пенсию вышел, в избушке на ограде верстачок организовал, пилил и строгал, но все впустую, так заготовки годами и лежали на стеллажах. Супруга его не выносила эти занятия, ворчала и грозила подпалить всю мастерскую, от которой никакого толку нет. Михаил Прохорович понимал бесполезность своих занятий, но душа не лежала работать на заказ, вот попилил-построгал – на душе полегчало, он и доволен, а баба поскрипит и тут же сядет, он на это внимания не обращал. Но вчера она его вывела из терпения.

Михаил Прохорович у верстачка прикидывал, как ему красиво обстрогать брусок и превратить его в восьмигранник, больно хотелось увидеть такую вещицу, примерить, как она смотрелась бы ножкой стула или стоячком в серванте. Хорошо бы смотрелась, если пустить по ребрам граней неглубокие насечки да густо проолифить дерево, предварительно отшлифовав и высушив. Он вздрогнул даже от неожиданного резкого голоса жены.

– Вот скажи мне, Михаил, и сколько это будет продолжаться, и когда ты перестанешь прятаться в свою забегаловку? Ну, чисто ребенок, ей богу, крутит и вертит свои деревянныешки! Вот выйди, посмотри, что добрые люди делают, пока ты в игрушки играешь! Иди, погляди!

Михаил Прохорович отложил брусок, нехотя вышел во двор. Галина Ивановна уже стояла у высокого тына, разделявшего их и соседский огорода, и кивала ему на огуречник Якова Андреевича. С Яшкой Кауцом они выросли вместе, его в первый год войны родители привезли с Волги, Яшка – немец, и война с немцами, потому его не любили и частенько бивали ровесники, а Мишкина мама, всякий раз отмывая Яшкины ссадины и примачивая синяки, плакала: «Мишка, пусть рука у тебя отсохнет, если поднимешь ее на немчиков. За что же вы их так, они ведь ни в чем не виноваты!». «Мама, дак не я бью, а ребяташки». Потом их стали бить вместе.

Михаил Прохорович глянул через тын, оценил объект и повернулся уходить, Галина Ивановна догнала его вопросом:

– Ты видел?

– Видел, ну и что?

– А то, что теплицу изладил Кауц.

– И что из того?

– Вот бестолковый! А то, что среди лета будут красные помидоры вкушать. Это же теплица! Михаил Прохорович терпеливо выслушал и лениво спросил:

– Ты меня-то зачем от дела оторвала?

Галина Ивановна возмутилась:

– Подумать только! От дела я его оторвала! Он на дощечку любовался, а я его оторвала.

Позвала тебя, чтобы ты такую же теплицу изладил, как и Кауц.

Михаил Прохорович помолчал, потом ответил:

– На вас с Яшкой удержу нет. Ему завтра в голову взбредет Байконур в огороде организовать, ты и меня обяжешь ракеты выстреливать? А насчет красных помидоров вы оба с Яшкой ошиблись. Запомни: ты живешь в стране вечно зеленых помидор, и что бы там Яшка не строил, помидоры наши будут вызревать в старых пимах на полатях. Все, про Байконур больше ни слова.

Галина Ивановна сильно на него обиделась и весь вечер не разговаривала, утром подняла с постели и отправила на огород за луком.

В дочке своей единственной Михаил Прохорович души не чаял, никого у него не было больше, потому сильно за нее переживал. Замуж вышла она по глупости, так считал, привезла еще из медучилища прыщеватого верзилу, сына с ним нажили, муженек ни с того, ни с сего силу стал набирать, власти потребовал, до того дошел, что однажды заявил тестю, что тот плохо о дочери заботится. Так и сказал, что вы теперь уже старые и вам ничего не надо, стало быть, всю пенсию надо отдавать дочери, ну, ему, стало быть, так надо понимать. Михаил Прохорович не сильно удивился наглости, к тому все шло последнее время, он встал над столом (в застолье дело было) и поднес к самому носу зятя здоровенную фигу. Тем она была убедительна, что еще в молодые неосторожные годы рассек начинающий плотник большой палец, тот расшаперился, заматерел, и теперь, просунутый между своими братьями, был вызывающе безобразен.

Танюха была девчонка толковая, в школе на пятерки училась, все детство кукол лечила, потом вечерами в райцентр ездила, санитаркой работала в больнице. Зарплату ей не платили, но домой привозили на машине «скорой помощи», она гордилась. Михаил Прохорович губу раскатил, что дочка врачом станет, их с матерью в старости поддерживать будет, но времена изменились, в институт поступить невозможно, дали на район три места – сынок главного врача и еще кто-то из деток при руководстве возжелали, им дали бумаги, а с Танькой и разговаривать не захотели. Так она оказалась в училище, теперь вот ездит на «скорой», уколы ставит да упреки выслушивает, что нужных ампул нету.

Крадчи от супруги Михаил Прохорович предлагал дочери отправить обратно в город своего долговязого, видел он, что Артур, сын Якова Андреевича, всегда у забора торчит, когда Татьяна приезжает, раз даже намекнул ему насчет этого, и парень признался, что жалеет, не сразу заметил соседку, все мелкой считал. «А как бы она свободной была?». «Сразу бы в ноги пал». «А дите?». «Ребенка я уж сейчас люблю». Вот и подивись на жизнь, а парень он славный, трезвый и работающий, на «камазе» арендованном грузы по России возит, при деньгах. И аккуратный, всегда чистенький, одно слово – немец. Сказал ей об этом и открылся так же, что давно заметил: не особо дочь чтит своего муженька. Татьяна от такого предложения всплакнула только, да еще сказала, что нюхач папаня, ничего от него не скроется. На том и остановились.

К вечеру того же дня приехала Татьяна, муженек так и остался в машине, внук к деду в мастерскую забрался. И тут слышно было, что супруга призвала дочь в союзники:

– Танька, внуши отцу, чтобы он языком не блявостил, ей богу, доведет до беды! Про Ленку утрось сказанул, что опять аборт сделала. Дак ладно – дома, он и на людях может брякнуть, вот пойдет корову встречать и не вернется, на суд выловят.

Татьяна хохотнула:

– Ну, папаня, нюхач старый! Мама, только ты никому не говори, Ленка в самом деле вчера в больнице ночевала. Только ты никому не говори. Нехорошо это...

2009 год

Дядя Федя, тетя Таня

На новом месте назначения дали мне с семьей квартирку скромную, можно даже сказать – бедненькую дали квартирку: домик на две комнаты в отдаленном, почти деревенском уголке районного центра. Сказали, что временно. Домик до нас пустовал, потому заехали сразу, сгрузив свой невзрачный скарб на узенькой ограде: жена решила побелить стены и покрасить пола.

Я отворил покосившуюся калитку огорода и ступил на зеленый ковер сорной травы: без хозяина и дом, и огород сирота. Зато соседний участок вызывающе выглядел: буйный картофель достигал высоты изгороди, на меже распластались зеленые с прожилками листы, а сами тыквы частью свалились с межи и мирно покоились прямо на земле, частью свисали с жердей изгороди на толстых жилах ботвы. Три ряда помидоров тоже не отстали в росте, а плоды терялись в листве и только изредка высывались зелеными пупырышками. Но краше всего выглядели две высокие огуречные гряды, такие в наших краях складывают из скопившегося за зиму навоза, с наступлением тепла он начинает согреваться и подпитывает спасительным теплом слабенькие стебельки огуречной рассады. Гряды пропрели и осели за лето, но и сейчас, в середине июля, выглядели внушительно. По покатым бокам их сползали крупные огурцы, начинающие желтеть. Огромные шляпы подсолнухов у дальней межи грустно опустили головы и ждали созревания, веселые воробьи, как акробаты, свисали с полей шляп и ловко воровали из ячеек еще молочные семечки. Все было зелено и радостно.

С соседями своими я познакомился в тот же вечер, потому что надо было заносить в дом громоздкие вещи, и тут без помощников не обойтись. В ограде встретила пожилая женщина, довольно небрежно одетая: грязный халат, в каких обычно работают уборщицы в учреждениях, был заношен до крайности и неуклюже топорщился, столь же несвежая косынка повязана на бок, отчего хозяйка казалась забиякой, на ногах рваные опорки резиновых сапог. Она несла подойник с парным молоком, его белизна нелепо смотрелась на фоне затрапезной доярки. Поздоровался, объяснил, что сосед, спросил, есть ли в доме мужчина, нужна помощь.

– Муж ваш дома?

– Муж – объелся груш. Дома, где ж ему быть? Федя – брат медведя! Иди сюда!

Из дверей рубленых сеней, у нас их называют сенками, вышел крепкий кряжистый мужичек, сразу подал мне руку:

– Вижу, что новоселы. Пошли, подмогну.

Мы управились довольно быстро, за это время я узнал, что жену его зовут Татьяна Аверьяновна, сам он приезжий, сошлись три года назад.

– Ты ее бабкой Таней зови, она любит. Да и на пенсии, все равно бабушка.

Бабка Таня просунулась в открытое окно:

– Айдайте к нам ужинать, хозяйка когда еще наготовит.

На столе большая сковорода жареной картошки, нарезаны уже знакомые мне огурцы, молоко в банке и чайник. Чайник оказался с сюрпризом, бабка Таня ловко налила всем по стакану мутноватой бражки и провозгласила тост за новых соседей, чтобы нам в дружбе жилось.

Дружить с бабкой Таней оказалось непросто, как только я выходил на крыльцо, она открывала окно и кричала:

– Иди сюда, милай мой!

Если не смог отнекаться и заходил, бабка Таня наливала по стакану браги, мы выпивали, я заедал недобродившую еще жидкость огурцом или луковым пером. Отказываться было бесполезно, потому всячески избегал посещений. Федор это не одобрял:

– Ты заходи, мне одному бабка не нальет, когда сама вдруг не потребляет.

Вечерами соседи носили ведрами воду из колонки на огород, щедро заливая все, что посажено в огороде. Похоже, бабку Таню не особенно интересовали результаты своей работы, а больше нравился процесс, но активность этих людей удивляла. Со временем примирился, что бабка Таня частенько пьяненькая, чем и Федор не всегда доволен. Он был хороший плотник, раньше гнул полозья для саней и конские дуги, потом спроса не стало, баловался всякой мелочью.

Прожили зиму. Весной по предложению соседей я натаскал вилами большую кучу навоза и сложил гряду, огурцы быстро пошли в рост, чему немало способствовала очень теплая погода. У соседского плетня высились две большие гряды, которые дед и бабка каждый вечер заливали водой из колонки. Скоро над грядами поднялась буйная зелень, и бабка Таня позвала меня:

– Глянь, милинькай мой, не пойму, кто растет, только не огурцы, это уж точно. Я же, дорогой мой, агроном, курсы кончала, в эмтээсе робила. Глянь.

На грядах росли тыквы, точно такие жена посалила по краю картофельного огорода, но наши значительно отставали в росте, а эти на навозном тепле нежились.

Бабка Таня так и села на грядку:

– Вот дура – в лес подула, голы веники ломать! В той коробочке у меня и тыквенные семена были, и огуречные. Тыфу ты, прости господи!

Встала, наклонилась ко мне:

– Как садила – не помню, мы в тот день с дедом картошку сдали, обмыли. И вот, пожалуйста! Мичуринец хренов! Только ты никому не сказывай, засмеют.

Как-то вечером соседка окликнула меня через плетень:

– Ты, миленькай мой, не отвезешь нас с дедом утричком на покос?

Я согласился. Утром загрузили в мой «уазик» грабли и вилы, сумку и ведро. Дед Федор сел рядом и показывал дорогу, то и дело уточняя:

– Сюда поверни... Вот тут направо... Тормозни, вон ямка.

Странно, но меня это штурманское поведение деда не раздражало, а веселило.

– Сенов-то много надо ставить?

Бабка Таня оживилась:

– Да дивненько, миленькай, дивно. Корова – жрать здорова, потом бычок, худ как сверчок, телочка нонешная, да овечки. Но – накосим, уж половину накосили, нынче бы собрать.

Дед указал на березовый колочек, куда надо подъехать. Пока разгружались, я зашел в лесок, ущипнул присохшую клубничку, пропустил между пальцами веточку костянки и порадовался терпкому кисленькому удовольствию. Пошел было дальше, но бабкин окрик остановил:

– Милай, подь сюда скорей!

Бабка Таня стояла на коленях и, наклонившись, что-то бережно перебирала, любуясь и приговаривая:

– Да миленькие вы мои, да хорошенькие, да в кого такие уродились-то!

Ненужные уже грабельцы лежали тут же, легонький валочек подсохшей травы откинут, а под ним на влажной подушке лесного покоса в рядочек выстроились маленькие крепкие грузочки. Я руками осторожненько отгребал подбывавшую траву и сламывал фарфоровые грузочки.

Вспомнился отец с его постоянным наказом «собирать грузди не больше свиной бирьки». И дед Федор присоединился к нашему пиршеству, скоро весь покос проползли и собрали два бабкиных платка.

– Вези домой, пусть хозяйка вымочит и засолит, а мы начнем, уж ободняло.

Я только вернулся с работы, бабка Таня ждала у окна:

– Забирай своих, и к нам, свежую картошку попробовать.

Наверно, это повелось с голодных лет, когда в крестьянском хозяйстве не только хлеба – картошки не хватало до нового урожая, потому свежую, молодую картошку ждали. Ее не копали, разворотив все гнездо, как делают осенью, гнездо аккуратно подкапывали, отец, помню, руками подрывал рыхлый чернозем, нащупывал самую крупную картофелину и осторожно отщипывал ее от корневища. Такую картошку варили в мундире или счищали тонкую кожуру тыльной стороной ножа.

Бабка Таня вывалила на блюдо чугунок картошки, сваренной на таганке в ограде, она припахивала дымком, кожара полопалась, разварившийся крахмал выпирал из разломов. Дед Федор налил по стакану браги:

– Ну, робята, как говорят цыганы: «Картошка присхандыла, мокрым чаем припием, и пчальгу традыём». Не спрашивай, переводов не знаю.

Я не стал пить, чтобы не портить праздник. Чуть остывшую картофелину разломил пополам, круто посолил и, обжигаясь, прикусывал, осторожно разминал языком во рту, глотая горячую и приятную кашичу.

Когда уходили, заметил в ведре, приготовленном для поросенка, пригоршню мелкой картошки. Точно, они не подкапывают.

– А зачем? – Удивилась бабка Таня. – У нас ее без малого гектар. Вот копать начнем осенью – только шур да бар, огонь да вода! Успеть прибрать, а то хизнет.

Я понял, что пропасть может.

Мои друзья, приехав в гости, домишко мой забраковали, через неделю привезли две машины бруса: строй! Нанял троих мужиков, залили фундамент, выложили стены. Под стройку ушла часть огорода. Деньги быстро кончились, а осенью начальство предложило благоустроенную трехкомнатную квартиру с условием, что и домик, и стройку сдам властям. Надо было принимать решение. Вечером рассказал соседям.

– Ну, и что ты надумал? – Бабка Таня была явно заинтригована.

– Ума не дам. На будущее лето можно дом достроить, улочка у нас тихая, огород, ягодник, можно поросеночка держать. Все-таки на земле.

– Правильно, милай ты мой! Ты погляди, красота-то какая! И тихо, и чисто, и соседи хорошие. Откажись, достраивай и обзаводись!

– С другой стороны – благоустроенная квартира: за водой бегать не надо, дров не надо, туалет посреди квартиры. Никаких забот, пришел с работы, включил телевизор и на диван.

– Правильно! Нахрена тебе грязь да мухота! Всю жизнь в говне копаться! То ли дело – открыл крантик – водичка, тавалет – только дерни за веревочку. Переходи, и не думай!

Дед Федор хохотал от души:

– Ну, бабка, признавайся, ты за белых аль за красных? И куда теперь ему с твоим советом?

Через неделю я получил ордер и переехал в новый дом. Со стариками изредка общался, не переставая удивляться их оптимизму и жизнелюбию. Впрочем, они едва ли свою жизнь так понимали. Дед Федор умер первым, через месяц похоронили бабку Таню. Я жил уже в другом районе, приехал, постоял у могил с простыми деревянными крестами. Было светло и грустно.

12–14 июля 2009 года

Как помирал Яков Васильич

Ленька был последним дезертиром в семье, так строгий отец обозвал его в последний вечер, когда посидели за столом и вышли покурить на крылечко. Августовская ночь дышала запахами скошенных хлебов и засахарившейся на корню смородины с малиной в большом неухоженном саду за домом. Ягоду собирали, и большими кастрюлями на временной печке под сарайчиком мать варила всякую всячину, но год удался на садовые кустарнички, и ягода сыпалась прямо на землю к великой досаде отца, Якова Васильича.

– Где-нибудь люди бедствуют без сладкого, мясо разоставить нечем, а тут все под ноги. Несправедливо мир устроен.

– Да вы уж перестроили было, да ничего не вышло, – ущипнул его кум Прокопий. – Под коммунизм-то все сроки уходят, а каждому по потребности нету.

Отец не обижался, у них с кумом давний спор, да и не спор вовсе, а повод поговорить по серьезному вопросу, отец с войны партийный, а кум ему в оппозиции, правда, только кухонной, зная, что тобольский конвой шуток не любит, разбирались дома и тихонько.

– Вот ты сам и ответил, почему не дошли до коммунизма. Ты же не сказал, что надо каждому до невозможности работать, чтобы достигнуть, а начал с потребности. И кто тебе чего припас, если ты сам пролежал?

– Где это я пролежал, интересно знать? – вяло возразил Прокопий. Три стопки самогонки расслабили его, он уж и не хотел связываться, да отступать неловко, подумает Яшка, что крыть нечем. – На работу хожу, как все, плотничаю. Чего еще надо? Сказали бы прорабу, как этот коммунизм строить, мы бы его за сезон смаздрячили.

Отец сухо сплюнул, он всегда так реагировал на чью-то глупость, повернулся к Леньке:

– Не передумал еще на производство ехать?

– Нет, батя, не передумал.

– Плохо тебе дома?

– Батя, ну чего ты опять?

– Ладно, будет об этом. Хлын ты, и дезертир, последний с фронта бежишь.

Ленька уехал в Тюмень, жил у товарища, работал на аккумуляторном заводе. После деревни было тошно, ненавидел очереди на остановках и толчею в автобусах, кругом все чужие, поздороваться не с кем. Платили хорошо, через полгода дали место в общежитии, вроде и в транспорте стало свободнее. Ленька писал домой письма и получал короткие записки от матери, что все нормально, только отец хмурый, «уж хоть бы загулял, а то и самогонку гнать перестал». Отца было жалко, Ленька вырос около него, летом с трактора не слезил, в кабине и спал в ночную смену. Когда подрос, стал подменять батю, бывало, смену и пропадет, а отец в это время дома работу сделает.

Два старших брата после школы тоже в тракторной бригаде работали, а из армии домой не вернулись. Один махнул на Север и сейчас роет траншеи под трубопроводы, второй подался в военное училище и служит как-то странно, в письмах совсем ничего, только жив-здоров.

Фотокарточку прислал, отец разобрать не мог, толи он в форме, толи в нижнем белье, погон нет, значков нет, не воин, а бич после вытрезвителя. Три года они не бывали дома, мать перестала плакать, отец тоже назвал хлыном и того, и другого, правда, заочно.

После смены Ленька, перепрыгивая через тонкие лужицы на асфальте, зашел в пивнушку. Пиво тут было получше, чем в других местах, может, потому что молодая девчонка торговала, не научилась еще жидким чаем разводить или пенной шапкой прикрывать недолив. Она три кружки, как положено, пускала по кругу, одну отгаливая клиенту, вторую доливая, а третья ждала своей очереди, опадала пена, потом на долив. Такого Ленька и ребята больше нигде не встречали, хотя знакомый по пивной Виссарионыч кивал, мол правильно делает, так и положено. Виссарионычем он не был, это прозвище дали за усы, как у Сталина. Такое впечатление, что он не выходит из пивной, разу не помнит Ленька, чтобы Виссарионыч отсутствовал.

Ленька взял пару кружек и поискал место за стойкой. Виссарионыч перехватил взгляд, кивнул, Ленька прошел к нему.

– У меня вобла есть, примыкай, – густо сказал Виссарионыч. – Любишь с воблой?

– Откуда! – хмыкнул Ленька. – У нас только карась, с вяленным карасиком пиво хорошо идет.

– Угости при случае. А пока соси воблу, деликатес.

Ленька помял во рту кусочек незнакомой рыбы, никакого удовольствия не испытал, но для уважения кивнул соседу, что хорошо.

– Карася скоро не обещаю, отпуск только зимой, а батю неловко просить, чтобы выслал.

– Он у тебя рыбак?

– Нет, дядя Проня рыбак, а батя на меня злится, что уехал из дому.

Виссарионыч важно отхлебнул пива и блаженно зажмурился. Ленька тоже пивнул и закашлялся, не в то горло попало. Помолчали.

– Отец-то старый?

– Старый, к полсотне.

Виссарионыч засмеялся:

– Полста для мужика не возраст. Не отпускал?

– Не то, чтобы... Не хотел. Нас трое, братьевьев, а они с матерью вдвоем остались. Скучно, наверно.

– Скучно в кино бывает, а им тоскливо. Тоска, милый мой, самая опасная для человека болезнь. С тоски мрут.

В пивной тихонько гудели мужики, пьяных не было, кружки звенели, и Настенька, так звали буфетчицу, почти не закрывала кран, наполняя кружки. Ленька на нее заглядывался, но боялся, все-таки городская, с которой стороны к ней? Виссарионыч спросил:

– Настена нравится тебе? Не темни, и мне нравится тоже, но я стар, а ты поактивней, посмелей. Настя! – крикнул он через весь павильон. – Свежую бочку открывать – меня позови!

– Позову! – крикнула в ответ Настя.

– Ты не спеши с пивом, пойдешь, поможешь ей, вот и познакомишься.

– Да ладно, – безразлично сказал Ленька и покраснел.

Ждать пришлось долго, Ленька совсем было собрался уходить, да Виссарионыч придержал, а потом и Настенька крикнула.

– Пошли! – скомандовал сосед и подхватил Леньку под мышки. – Мы тебе, Настена, вдвоем с другом поможем, друг у меня объявился.

– Знаю такого, частенько заходит. Ты кроме пива ничем не балуешься?

– Нет, что ты, Настена, он не балованный, сельский паренек, скромный.

– Ага, дядя Виссарионыч, все они скромные, пока не стемнело.

– Ты парня не смущай, он и так света не видит. Бери молоток, Леня, выбивай пробку.

Бочку вскрыли, она обдала ароматом свежего пива, жидкость метнулась было в отверстие, но Виссарионыч опытной рукой быстро заткнул его резьбовой пробкой насоса и провернул несколько раз.

– Готово, Настена, торгуй!

– Дядя Виссарионыч, по кружке за услуги.

– Не откажусь, спасибо, дочка. – И, отвернувшись от Леньки: – А к Лёшке-то присмотришь, паренек ладный, да и ты ему глянешься.

Настя потянула Виссарионыча за воротник, дыхла в ухо:

– Пусть к закрытию подходит, к десяти, передай ему.

Ленька краснел и кивал головой, залпом выпил свежую кружку и побежал в общежитие. Помыться надо и приодеться, такая девчонка, и вроде как не зря присматривался.

На вахте ему молча сунули телеграмму. «Ленька, помираю, торопись, а то не захватишь. Отец». Он много раз перечитал две строки, вахтерша смотрела с сочувствием и молчала. Заскочил в комнату, переоделся, вспомнил о Насе, как о чем-то далеком и несбыточном, спустился на вахту, позвонил на вокзал, из-за утреннего дождя автобус в район не пойдет. Надо выбираться на выезд из города и ловить машину. Оставшиеся от аванса деньги сунул в карман пиджака.

Машин было мало, и они не останавливались. Ленька беспокоился, что стемнеет, тогда вовсе никто не посадит, он выскакивал на дорогу, но шофера мотали головой: не берут. Остановился «Урал», большая машина с огромным кузовом, в кабине трое.

– Тебе так быстро надо, что под колеса кидаешься? – беззлобно спросил водитель, стоя на подножке. – Куда тебе?

– В деревню под Голышманово, батя при смерти, боюсь, не успеть.

– Ладно, залазь в кузов, там скамейка, только гляди, бочка может покатиться, дорога неважная.

В кузове грязно и много железа, бочка стоит в углу, рядом тяжелые ящики. Не глядя, сел на скамейку, машина тяжело шла по грязной дороге.

«До района доеду, а дальше пешком. Среди ночи какой транспорт... Придется стороной идти, по большаку замучаешься...».

Об отце думать боялся, никак не мог допустить, что тот беспомощен, он же сильный и молодой, зря ляпнул Виссарионычу, что старик. Ленька видел покойников и похороны в деревне, это всегда событие, провожать все приходят. Но отец... Не может он помереть, никак нельзя. Леньке стало так тоскливо на душе, так больно, он заплакал, уткнув лицо в рукав пиджака. Машину тряхнуло, железо оглушительно сбрыкало, бочка подпрыгнула, ударившись о борт, свалилась на бок, крутнулась и скатилась к кабине. Ленька едва успел убрать ноги, вскочил, пододвинул к бочке ящик, успокоился.

Темнело, стало прохладно, Ленька пожалел, что в спешке не взял плащ, кутался в пиджачок, но тот не спасал. Машина вдруг остановилась, шофер высунулся в открытое окно:

– Айда в кабину, там смерзнешь!

Мужики сжались, уплотнились, кое-как сели. Ленька чувствовал себя неловко, стеснил людей.

– Тебе от трассы-то далеко?

– Пятнадцать.

– С отцом что случилось, болел, что ли?

– Нет, не болел вроде. Не знаю, мать писала, что он изменился, но не сказать, чтоб болел.

Они кричали, чтобы перекрыть гул мотора. Ленька вдруг вспомнил слова Виссарионыча про тоску, вспомнил и похолодел: тоска и сгубила его, а тоска потому, что Ленька уехал, совсем один остался батя. От этой догадки Леньке стало стыдно, как будто и впрямь его вина в смерти отца. Он оторвался от дурных мыслей: «Обойдется все, батя, может, специально такую телеграмму дал, чтобы я приехал». Эта спасительная мысль ослабила сердце, он ловил ее и не отпускал, она согревала, давала утешение.

Мужики дремали, болтая головами и поминутно вздрагивая. Шофер не обращал внимания на товарищей, машину болтало по большаку, он ворочал баранкой, ставя ее на середину.

– Я тебя довезу до деревни, не переживай, нам все равно к утру надо быть в Ишиме, успеем.

Ленька кивал головой с благодарностью, не понимая, что шофер ничего не видит:

– У меня деньги есть, я заплачу.

– Ладно.

Свернули с большака и поехали лугом, привыкший к тряске, сидевший рядом с Ленькой проснулся:

– Ты, Филя, все-таки поехал?

– Дремай, – посоветовал шофер.

– У тебя подремлешь! Я бы лучше в вагончике покемарил, а не в этом гробу.

Ленька вздрогнул от страшного слова.

– С тебя пузырь, – мужик повернулся к Леньке.

– У меня деньги есть, я рассчитаюсь.

– Деньгами пьян не будешь, ты пузырь ставь.

– Найдем, у матери есть, – ему хотелось, чтобы мужик замолчал. – «Если отец плох, то действительно, мать припасла».

– Ты всегда матерью зовешь? – спросил шофер. – Мамой надо звать, мамой, и никак больше. Понял?

– Я зову.

– Ну, как же? Сейчас назвал матерью.

– Так за глаза.

– Все равно! Мама! По-другому никак нельзя.

Беспокойный мужик добавил:

– Ты вот к отцу едешь, а он мать схоронил месяц назад, потому и вспомнил, как надо звать.

Раньше тоже не особо знал.

Шофер взревел:

– Да замолчишь ты, наконец!?

– Молчу! – мужик уткнулся носом в плечо спящего соседа.

У деревни шофер остановил машину, сказал, что дальше не поедет, не хочет улицу раздавить. Ленька вытащил деньги из кармана и протянул шоферу десятку. Тот отмахнулся и велел скорее вылезать. Мужик проворчал, что остались без водки. Ленька спрыгнул на землю и поскользнулся на липкой грязи. Машина обдала его несгоревшей соляжкой и ушла в темноту.

В ограде дома горел свет, Ленька перебежал на другую сторону улицы, чтобы сразу увидеть ворота, если они открыты, то все... Совсем не к месту вспомнилась поговорка «Пришла беда – открывай ворота». Вот почему в таких случаях ворота открывают, чтоб все знали, что в этом доме горе. Тесовые ворота были закрыты, сквозь щели высохших досок выбивался свет со двора.

Мать вышла сразу на стук калитки, видно и не спала, Ленька остановился в потерянности, мать заплакала:

– Третью ночь не спит, мается.

– Медичку вызывали?

– Была, да толку-то... Говорит, надо в район везти, а он запретил. Айда, он ждет.

Отец лежал на большой семейной кровати, да и не лежал, а полусидел на высоких подушках, глаза открыты, тихий ночничок едва светит.

– Батя! – Ленька упал на колени. – Ты чо надумал, тятя? Ты чо?

Отец повернул голову:

– Ленька. Приехал. А братовья?

– Нету их, отец, емя дальше ехать, – сказала мать.

Яков Васильич кивнул:

– Не успеют. Буду без них помирать.

– Тятя!

– Мать, покорми парня с дороги, я отдохну.

Какая еда? Леньку трясло, как в лихорадке, мать налила ему полстакана водки, он выпил немного, занюхал соленым огурцом.

– Я боюсь, мама, – сказал он виновато.

– Да чо уж там, не чужой, своя кровь. Не бойся.

Они опять вошли в комнату, отец кивнул:

– Садитесь рядом. Феша, ты помнишь, как я на тебе женился?

– Дак нюшь, помню. К чему это ты?

– Расскажи.

– Ну вот, придумал.

– Расскажи.

– Ну, пришел с фронта, на сеномётке увидел меня, узнал, я тогда совсем молоденькая была, ночью постучал в окошко да и увел.

– А Тришка-бригадир правда баловался с тобой?

– Ну вот, придумал. – Она смутилась, посмотрела на сына. – Домогался, дак ведь ты знашь, что ничо не было.

– Домогался... Ладно. Ты иди, мать, я с сыном...

Ленька сидел на стульчике рядом с изголовьем, слышал тяжелое дыхание отца, лежащим рядом рукотергом вытер пот с его лба.

– Водку пил? – неожиданно спросил отец.

Ленька испугался:

– Мама налила, глонул.

– Ленька, слушай и братьевым скажи: пить можно, только ум не надо пропивать. Бойся.

Он помолчал. Залетевший на свет комар звенел над ночником одиноко и тонко. Ночная прохлада вытягивала из комнаты тепло, оно уходило неохотно, прощально шевеля занавески на окнах.

– Ленька, у меня в груди все сожгло, на работе схватило, кое-как домой пришел. Про мать ты не думай, на ней греха нет, я грешен, доводилось с бабами вошкаться. Еще, сын: не ври никогда, соврать порой выгодней, а ты не ври. Обожди...

Он закрыл глаза. Ленька опять вытер холодный пот с отцовского лба. Кукушка из кухонных часов прокричала три раза. Мать не заходила.

Отец вдруг приподнялся, обеими руками ухватил Ленькины руки, сжал их крепко:

– Ленька, запомни, нет правды на земле! Я знаю, я всю жизнь верил и гордился, что знаю правду, а ее нет. Запомни!

Он откинулся на подушки и затих. Ленька не сразу понял, что отец умер, а когда понял, то не испугался, даже сам себе удивился, что страха нет, провел ладонью по его влажному от пота лбу, как видел в кино, и молча благоговейно смотрел в родное лицо. Мать вошла и вскрикнула, Ленька предостерегающе поднял руку, нельзя кричать и плакать, это он точно знал. Мать села на край кровати и не вытирала слез, они так и капали на расстегнутую отцовскую рубашу.

2008 год

Черёмухи цвет

Мне рассказал эту незатейливую на первый взгляд историю, но полную загадочных совпадений и немислимых поворотов сюжета, пожилой уже журналист, с которым мы оказались в одном доме отдыха в сезон, надо сказать, не самый лучший. Была зима, сильные февральские морозы со свойственными такой поро ветрами, не выпускали отдыхающих в сосновый бор, который был единственной достопримечательностью этих мест. Мы заехали в один день, сразу сошлись, разница в возрасте как-то сама собой потерялась, потому что сосед мой оказался человеком довольно общительным и эмоциональным. Когда я узнал его профессию, все стало понятно: нельзя людям его дела быть равнодушными и флегматичными, такие не могут заинтересовать меня своим скучным изложением увиденного, а переживаний у них не бывает по определению.

Он назвался Петром Петровичем, был среднего роста и средней же полноты, черты лица приятные, чуть пордевшие волосы зачесаны на косой пробор и всегда в полном порядке, чистые и спокойные. Выпить мой сосед в первый же день отказался, без затей объяснив, что «ему пая нет», чем ввел меня в крайнее смущение: я подумал, что он говорит о неучастии в приобретении бутылки коньяка. Заметив мое замешательство, Петр Петрович залиvisto засмеялся, несколько раз сильно хлопнув в ладоши. Смеялся он примечательно, громко и от души, в самые пиковые моменты переходя даже на свист, у нас еще будет много поводов для этого. Мне же он объяснил, что имеет в виду отведенную ему норму, «свой пай выпил давно», но против ничего не имеет, если я развлекусь коньячком.

Раскрыв свою большую сумку, он вынул портативный компьютер и большой фотоаппарат, улыбнулся, развел руками:

– Думаю тут поработать, надо написать одну вещицу. Я ведь, брат, балуюсь письмом, не могу не писать. Правда, не предполагал, что окажусь с соседом, это меняет условия, придется выходить в холл.

– Нет-нет, вы работайте, я буду уходить.

– Куда? – весело спросил Петр Петрович. – Вы не сумеете мне угодить, вот уйдете, будете где-то маяться, а я ни строки не напишу, потому что настроения нет. И напротив, вы в комнате, а меня подперло, дрожь в руках. Уж лучше я застолблю место в холле, там замечательно, в углу за фикусом, уже присмотрел.

Он вставал удивительно рано, забирал свой компьютер и уходил, оставив меня досыпать, возвращался перед завтраком, хмурый, недовольный собой, ел без аппетита, потом снова прятался за своим фикусом. Только после ужина оставался в комнате, ложился на кровать и молча смотрел в потолок. Я не знал, как себя вести. Перемена с моим соседом случилась быстро и столь неожиданно, что подумалось, не заболел ли.

– Вы не спите, Петр Петрович?

– Нет. Слушаю вас.

– Не считайте за любопытство: как сосед, я просто обязан спросить, что случилось? Вы сильно изменились, как только стали уходить работать.

Он помолчал.

– Видите ли, я пишу сложную для себя исповедь, чтобы в письме хоть сколько-нибудь соответствовать внутреннему состоянию, должен всякий раз вживаться, пытаться разум приблизить к душе. Надеюсь, вы согласитесь, это довольно непросто, и вся писательская сложность как раз в том и состоит, чтобы научиться мыслью познавать чувство, перенести его на бумагу. Конечно, я опускаю разговор о том, что душу и переживания нравственные, как минимум, надо иметь, без них ничего не бывает в литературе. Вы меня извините, я вынужден уходить в себя, чтобы сохранить это состояние, не растрясать, не утратить в праздных разговорах, понимаю, что со мной скучно, потому и просил отдельную комнату.

Я тут же перебил собеседника страстными заверениями, что у меня нет никаких претензий, что крайне неловко себя чувствую оттого, что не могу создать своему товарищу приличные условия для работы.

Он никак не отреагировал на мою тираду и продолжал смотреть в потолок, хотя заметно было, что весь он со своими мыслями очень далеко от нашей комнаты. Я выключил прикроватную лампу и затих. Петр Петрович еще с полчаса лежал неподвижно, потом сел, посмотрел в мою сторону, глаза наши встретились.

– Вы тоже не спите? Знаете, я должен кому-то рассказать свою историю, которую пытаюсь писать. Есть несколько моментов, они смущают, не могу найти им места.

Я поднялся, потянулся было за сигаретой, но вовремя одумался.

– Ничего, закурите, люблю, когда пахнет хорошим табаком, а у вас, заметил, табак приличный. Потом комнату проветрим.

Я закурил.

Метель в этот вечер была какая-то бешеная, порывы плотного, упругого воздуха срывали верхушки сугробов, с размаху бросали сухую белую массу в стену нашего корпуса, а потом кружили снег по двору, беспорядочно распределяя между чахлыми кустиками аллеек, забором и подсобными строениями. После ужина я пытался пойти погулять, но вернулся, не пройдя и ста метров, так силен был ветер и так много снега швырял он в лицо насмелившемуся человеку. Несколько времени постоял на веранде, через стекло наблюдая буйство стихии, и ушел в комнату.

Петр Петрович словно забыл о своем намерении рассказать мучившую его историю и забыл о моем присутствии, он все так же сидел на кровати, лицо чуть покраснело, глаза наполнились слезами. Мне стало не по себе. Наконец, он встал, включил чайник, приготовил добрую порцию настоящего индийского чая, залил кипятком и сел, держа в руках горячую фарфоровую чашку.

– Не знаю, друг мой, с чего начать свой рассказ, чтобы вам было все понятно. Я журналист, как вам известно, но уже лет пятнадцать пишу прозу, издаю книги, писатель, так сказать. Догадываюсь, что имя мое вам не знакомо, и не только потому, что вы из другой области. Тиражи книг по финансовым причинам ничтожно малы, и не только моих. Эти сволочи сделали все, чтобы народ довольствовался мерзкими детективами и откровенной пошлятиной. Впрочем, не об этом речь, информация о писательстве вам совершенно необходима. Итак, год назад я по договоренности с одним журнальчиком готовил материал о большом сельскохозяйственном предприятии, жил там несколько дней, с руководителем и раньше были хорошо знакомы, а за это время и вовсе подружились. Его Иваном Егоровичем зовут. Он сам возил меня на производство, сам комментировал, замечательно проводили время. И вот приехали мы в маленькую деревню на вечернюю дойку, надо было заснять лучших доярок, посидели в комнате отдыха, в урочный час пошли в коровник. Вы не бывали в коровниках? Поразительные перемены, скажу вам, я захватил еще ручное доение, когда доярки с бидончиком ходили. Труженицы! Пришлось мне сопровождать делегацию животноводов района, в котором тогда работал, на областное совещание передовиков. Моя задача состояла в том, чтобы у них никаких житейских проблем не было. Уложил всех спать, тогда в Тюмени одна гостиница была, «Заря», номера на семь коек, как раз для всей женской делегации. Просыпаюсь: кто-то ходит по коридору. Выхожу, доярочка наша передовая, Балясина, ходит и руки сомкнутые, как малое дитя, качает. Спрашиваю: «Вы почему не спите?». И знаете, что она ответила? «Рученьки мои не спят, так их ломает, время пять, утренняя дойка начинается, им работать надо». Вот так. На этом предприятии ферма современная, чистота, как в приличной столовой, запаха совсем нет, хороших денег стоит это удовольствие, но не о том речь... Снял я доярок, их теперь операторами зовут, а они молодежь, старых сейчас не держат, и

вдвоем встанут, и втроем: сделай милость, увековечь! Нащелкал их, дела все закончил, вернулся домой. Да, следует вам знать, что мужчина я одинокий и уже давно, жена моя от меня ушла, правда, развод не оформляли, она не настаивала, да и у меня не было намерения жениться. Уже тогда начал много писать, а дело это, брат ты мой, одиночества требует, потому, если женщина у меня появлялась, то лишь на вечер. Дома скачал все отснятое в компьютер и стал отбирать снимки для обработки. И вдруг увидел ее.

Он задохнулся, отхлебнул чаю, я во все глаза наблюдал за рассказчиком. Его волнение передалось мне, мы оба молчали.

– Снимок, – он тихонько откашлялся, – снимок был групповой, три девушки, она в центре. Я крупно взял ее лицо, и она прямо в душу мне заглянула. Наверно, преувеличиваю, но глаза ее выразительны, в тот момент был поражен. А лицо! Поверьте, друг мой, я видел тысячи лиц на фото, мне хорошо известно, что может фотография. Она одного не может, даже современная цифровая, из обыденного сделать благородство. Деревенская девчонка, самая простая, как медный пятак, а лицо... пушкинского времени, барышня светлая. Продолжаю работать, и время от времени открываю файл, люблюсь портретом. Да... Понимаете, я никогда не был аскетом, и вино пил, и женщин любил, но чувства большого не испытывал, а тут вдруг затосковал. Гоню от себя мысли о ней, а они приходят, даже во сне. Кажется, чего бы проще, садись в машину и к ней, знакомься, наводи мосты. Но, надеюсь, вы понимаете мое смятение: девочка, девчонка совсем, а я сед, в два раза старше. Подумаю так, и вроде устыжусь, охлыну, только не надолго, к тому времени в городской лаборатории большой портрет ее сделал, положил в стол. Ничего не скажу, стыдился ее, изредка достану, полюбуюсь и спрячу. Чего, кажется, прятаться, поставь на стол и смотри, ко мне в кабинет вообще никто не входит, ан, нет, стеснялся, ее стеснялся. Журнал материал напечатал, Иван Егорович приглашает в гости, машину за мной прислал. Посидели за чаем, он тоже не пьет спиртного, а я никак не могу найти подхода, чтобы заговорить о той ферме и о той девушке, ведь даже имени ее не знаю. Вы не поверите, это мистика какая-то, но ближе к вечеру хозяин предлагает съездить в ту самую деревеньку, мол, есть у него разговор к животноводам, да и автору, дескать, полезно пообщаться с героями своего очерка. Можете себе представить, что со мной творилось, хозяин даже поинтересовался, как себя чувствую. Приехали рановато, девушки только собираться начали, а я все на дверь посматриваю, и вдруг входит она. С морозца румяная, шаль сбросила, пальтишко повесила, прошла вперед, села. Я себя не помню, смотрю на нее: она – и уже вроде другая, голос звонкий, улыбка открытая, головку повернет – волосы скатятся на сторону. Я ведь ее совсем тогда, при съемках, не заметил, по фотографии одну представлял, а тут она другая, живая, неожиданная. И вдруг моя героиня говорит, обращаясь к руководителю, что корреспондент снимал, а фотографий-то они пока не видят. Иван Егорович засмеялся и пообещал, что Петр Петрович непременно сделает фотографии и передаст их лично Марине Николаевне для всего коллектива. Конечно, он не мог знать о моих сердечных муках, потому что я даже сам себе в них боялся признаться, но, видно, был чей-то промысел, чтобы свести меня с этой девушкой хотя бы раз.

– Очень приличный повод! – обрадовался я.

– Верно, – мой рассказчик оживился. – Фотографии мне напечатали, они со мной в машине катались все время, и как-то в Тюмени в одной конторе встречаю Ивана Егоровича, напоминаю, что с его подачи я должником оказался и осторожно намекаю про Маришку: мол, поручили лично ей передать, а кто она такая – не знаю. Он хоть и крутой бизнесмен, но душу еще не заложил, трогательно о ней говорил, что осталась она круглой сиротой с братиком на руках, бабушка помогла им вырасти. Девчонка техникум окончила, зоотехником стала, в институт заочный поступила, теперь брата доучивает в школе. Редкая по нынешним временам самостоятельность. Сказал, что домик у нее с голубыми наличниками, не ошибешься, я на всякий случай предложил ему взять фотографии, а он смеется: «Вы обещали, вы и вручайте». Никаких намеков, так все простодушно. И я поехал. Был конец мая, кругом зелено, улочка ее с одной стороны застроена, а напротив болотце, по весне наполнилось водой, что твой пруд, по бережку черемуха растет. Столь много ее, что белый от цвету весь берег, словно в снегу кусты. Подъехал к домику, из машины вышел, потерялся совсем, такая робость напала, как в юности, только и спасло, что она сама вышла. Улыбается беззаботной улыбкой, светится вся. Поздоровались, на скамейку сели, я фотографии достаю. Она недовольно губку вздернула: «Какая-то я тут непохожая, а тут смеюсь, будто пьяная». И говорит, говорит, что снимки на ферму унесет, что доярки над ней подшучивать будут, а я глаз от нее не отвожу, такая во мне жаль, такая боль загорелась. «Что же вы молчите? Я не люблю, когда молчат. Говорите!». А что говорить? Что одурел от девичьей свежести и

простоты, что видеть ее для меня уже радость и счастье? «Можно, я к вам еще приеду?». «Приезжайте, – улыбается, – в любое время». Много ли мужчине надо? Только всего и сказала, а у меня сердце петухом поет. Глупость, конечно, но случается. Еще одна странность: действительно, не похожа Маринка на свою фотографию, это она правильно заметила, но я-то позднее объяснение получил от нее. «Вы, – говорит, – придумали меня, а я такая, какая есть». Вот как точно! Встаю со скамейки, прощаться пора. Про телефон спросил, опять разрешения спрашиваю, Маринка смеется: «Звоните, только меня трудно дома застать». «Можно, я веточку черемухи на память возьму?». Побежала, надломил бутончик, быстрым шагом идет через улицу – легкая, словно плывет, а улыбка открытая, как будто рада она мне до невозможности. Как мне хотелось в тот миг обнять ее с разбегу и зажать, затискать в осторожных руках! «Завянет, пока везете, черемухи цвет – на одно мгновение». «Память о нашей встрече буду хранить». «Глупости это». «Так я приеду еще?». «Приезжайте».

Рассказчик мой опять замолчал, долго сидел почти неподвижно, слегка потирая виски. Увлеченный этой историей, я ждал продолжения, ничем не мешая воспоминаниям. Наконец, Петр Петрович встал, прошелся по комнате. Вьюга за окном стала стихать, фонарь на соседнем столбе перестал раскачиваться и бросать желтые блики на шторы.

– Вы еще слишком молоды, чтобы понять состояние человека, впервые осознавшего свой возраст, не старость, а просто возникновение для него возрастного ценза. Наступает такое время, когда о любви вообще говорить неприлично, а о чувствах к молодой девушке... , если она тебе в дочери годится... Но я себя знаю, столько в себе копался, что всякие движения души понимаю, к чему они ведут – догадываюсь. Должен признаться, что при всей своей эмоциональности влюблялся редко, обошел меня создатель таким талантом. Или наказанием, не знаю, что лучше. А тут точно определил, что влюбился в эту девочку так страстно, как никогда до этого не случалось. Я же не юноша, отдавал себе отчет, что неладное творю. И затих, стиснул сердце и молчу, не звоню, не еду. Доложу вам, что самое тяжелое в жизни – собственное сердце в руках держать. Только недолго это продолжалось, набрал ее телефон, голос услышал и не нашел ничего другого, как попросить десять минут для встречи. Десять! А до нее ехать два часа. Стою на трассе у дорожки, что с фермы ведет, одна женщина прошла, другая, я включу фары – нет, не Маришка. Долго стоял, потом набрал ее телефон с мобильного, брат отвечает, что она на работе, что-то сломалось у них на ферме. Уже ближе к полночи с фермы к ее домику подкатила машина, видимо, управляющий подвез. Конечно, не стал беспокоить, на второй день звоню, повторяю просьбу, она беззаботно соглашается. «Только, – говорит, – не знаю, когда освобожусь». И опять стою на том же месте, всех встречаю и провожаю, опять не могу дождаться, к тому же телефон домашний не отвечает. Так огорчился, что на повороте скорость не рассчитал, за малым в кювет не слетел. Разжигая себя, что и с фермы по другой дорожке ушла, и телефон выключила специально, два дня молчу, потом звоню, с ужасом жду ответа. А она, как ни в чем не бывало, поясняет, что уезжала в офис с отчетом, на ферме не была, а телефон не работает – так это часто бывает. Опять еду! Садится она в машину и смеется радостно: по деревне слух прошел, что появился какой-то маньяк на легковушке, который женщин с фермы выслеживает. А управляющий ей понимающе подмигивает: «В ночь поломки ты одна из женщин на ферме была, машина весь вечер крутилась, я же видел, сколько он кругов по снегу нарезал, выходит, тебя и ждал». Ребенок, чистый ребенок, ей интересно, что все боятся, и только она одна знает истину. Понимаете, она сказала: «Я же знаю, чей это ухажер!». Стыдно сказать, но я принял было случайную реплику на свой счет. Конечно, сгоряча.

Петр Петрович тяжело вздохнул, опять походил по комнате. Воспоминания, как мне казалось, были ему приятны, он с болью и удовольствием переживал еще раз уже бывшие свои чувства, возможно, тут же примерял устный свой рассказ к тому, что писал в углу за фикусом. Он включил чайник и опять заварил крепкий чай. Я молча наблюдал со своего места за этим немолодым уже человеком и невольно поражаюсь огромной внутренней силе и красоте. Мы отвыкли от откровенных проявлений возвышенного, от чистых чувств, временами его рассказ казался мне повестью тургеневских времен, не будь в нем автомобилей, телефонов и прочего.

– На чем мы остановились? – отхлебнув чай, спросил сам себя Петр Петрович. – Да, не стоит и говорить, с каким настроением ездил на эти свидания, состояние мое было столь высоко, что писал по десяти страниц в сутки легко, без напряжения, сейчас перечитываю эти тексты и нахожу их вполне приличными. Только ничего не менялось в наших отношениях, я, честное слово, даже затрудняюсь определить, в качестве кого я при сем присутствовал, а уж точно не любовник.

Совершенно! Говорили о пустяках, хотя заранее готовился к более серьезному разговору, но при ней все забывал или боялся, могу признать. Даже за руку ее ни разу не взял.

– А она? Она же приходила на ваши встречи, в машину садилась. Ну, не просто же так?

– Вот на это не могу ответить, не знаю! Предполагать можно что угодно, в повести обязан буду найти объяснение, но в реальности не могу ничего сказать за нее, за Маринку. Одно только ясно, что корысти с ее стороны никакой и быть не могло, она с первого разговора категорически отказалась от какой-либо материальной поддержки, даже подарки принимала с оговоркой, вполне достойно. И вот в ноябре она уезжает на сессию, мы встретились за два дня до отъезда, очень недолго поговорили, она махнула ручкой «До свидания» и ушла. Учеба на полтора месяца, предлагал купить ей мобильник, она отказалась, спросил разрешения приехать – «Не надо, очень много занятий».

Он опять надолго умолк, бессмысленно держа в руках чашку с остывшим чаем, я тоже молчал, понимая, что не имею права вмешиваться.

Ветер продолжал буйствовать, и тепло в нашей комнате спасало только расположение ее с подветренной стороны, но плотные шторы беспокойно покачивались, вползая на подоконник и плавно скатываясь с него.

– Не утомил я вас рассказом? – неожиданно спросил Петр Петрович.

– Конечно, нет, но, если вам трудно вспоминать – не нужно, не тревожьте душу.

– Это вы напрасно, моей душе сейчас как раз и нужно это выплеснуть, слишком много на ней скопилось всего. Да... Когда началась реформаторская чехарда, я оказался без работы, русский человек доверчив, как ребенок, и раб ваш покорный за чистую монету принял болтовню о свободе, один материал опубликовал «не к месту», второй. Там и критики особой не было, я сельские районы хорошо знал, видел, куда их заводят перемены, вот и излил душу в нескольких очерках. Два напечатал, остальные вернули вместе с трудовой книжкой. Сильно обидно было, уехал в деревню, купил домик, два магазина арендовал и начал торговать. Противное, мерзкое это дело, но у меня много знакомых на оптовых базах, я уже при капитализме продукты закупал по социалистическим ценам, была такая ситуация года полтора. Дела мои круто пошли, цены низкие, а доход приличный, потому что закупал удачно. И вот однажды километров сто преследовала меня паршивая иномарка, я на «девятке» ухожу, они пытаются обойти, знаки подают. Останавливаться нельзя, у меня полный дипломат денег, расчет везу на фирму. В общем, ушел, но страх появился, обратился к начальнику милиции, у нас хорошие были отношения, он мне «Макарова» организовал. Я у него в тире пострелял, до этого пистолета в руках не держал, конечно, сплошное «молоко» на мишенях, а он меня успокаивает: «Ничего, когда бандиты прижмут, не промажешь». Не стал ему говорить, что в живого человека не смогу выстрелить, я и курицы в жизни не зарубил. Торговлю скоро бросил, но пистолет остался, начальник тот большим человеком в органах стал, всякий раз мне разрешение продлевал.

Вот пистолет этот и сыграл роковую роль. Я с возрастом хандрить научился, такая тоска порой накатит – хоть в петлю. Обратился к докторам, депрессия, говорят, надо лечить нормальным образом жизни. Работал много, писал по ночам, даже засыпал за компьютером. В ноябре издал большую книгу, ее не поняли, не приняли, в писательской организации обхамили, почти ничего не продал. Такая дичь! Зол был на весь белый свет, в тоску впал. И Маринки нет, звоню – тишина.

– А брат? Он же оставался дома.

– Конечно, но – тишина, как будто нет никого. Знаете, как бывает, пришла беда – открывай ворота, одно к одному. Две недели из дома не выходил, ко мне никто не ходит и не звонит. И тут я про пистолет вспомнил. Вынул его из сейфа, смазку протер, чакнул вхолостую, положил на стол. Вам может показаться странным, друг мой, да и я немало тому удивился: совершенно спокоен! Даже руки не дрожат. Тут же обоймы с патронами, а мне и надо всего один. Вот решение, вот выход! Как говорил мой покойный отец, «плакущих по мне немного», родных никого, а кто и есть, так не роднимся по разным причинам, возможно, и я виноват. Представьте себе, внутренне готов. И тут она.

– Приехала! – вырвалось у меня.

– Нет. Портретик тот в открытом ящике стола. Зачем полез – не помню, а взгляд у нее острый, осуждающий, прямо материнский взгляд, и улыбка лукавая на губах. Строхотал ящиком, избежал взгляда, а сам уже другой, куда решимость подевалась, убрал оружие, охватил голову, плачу. Над чем плачу? Да над собой, над жизнью своей никудышной, над скорой расправой. Жалко, видите ли, себя стало. Нажал две цифры на телефоне, электронная барышня сообщает, что сегодня 31 декабря. Год кончается, а я и не знаю, счет потерял. И вмиг у меня все перевернулось. В

новогоднюю ночь всякие чудеса случаются, будь что будет, но Марину Николаевну, Маришку, как звал ее для себя, увижу.

Без предупреждения, без телефонного звонка еду в деревню, пробираюсь по сугробам к домику заветному, свет во всех окнах, выхожу из машины, набираю на мобильнике номер, отвечает женский голос, но не ее. Успел подумать, что кто-то из подруг праздновать пришел, поздравляю с наступающим, прошу пригласить Марину Николаевну. И слышу: «Она тут больше не живет». «А где она живет?». «Не знаю». «Простите, но вы ее квартиру занимали, неужели не знаете, куда она уехала и почему?!». «Не знаю, потому что нам квартиру от производства дали, я на ее месте зоотехником, мы из Казахстана приехали». Вот и все.

– Но вы ее нашли?

– Зачем? Мне кажется, судьба специально так нас развела, чтобы меня не загонять в угол, не было у нее другого выхода. Смотрите, как славно все разрешилось, никаких разочаровывающих объяснений, никаких трагедий. Незавершенность, незаконченность развития сюжета всегда была одним из ловких приемов в литературе, почему бы ей ни быть таковой в жизни?

11–17 января 2007 года

Букет

Дмитрий Борисович Витюков был редактором маленькой районной газеты в маленьком и не очень перспективном районе, дело свое не любил, но знал хорошо, мог четко поставить задачи сотрудникам, сам писал передовицы, обзорные статьи и даже очерки о хороших людях. Все в районе его знали, относились почтительно, все привыкли к его членству в руководящих органах и мягкому, ровному голосу при выступлениях, он считался человеком без будущего, но успешным и состоявшимся. Как-то ему даже вручили медаль «За трудовую доблесть», что вообще для газетчиков было редкостью.

Дмитрий Борисович и сам уже верил, что жизнь прошла, вялотекущая действительность его мало волновала, как, впрочем, и дом, и жена. Все стало привычным, ровным, скучным. Он заметно отяжелел и в свои почти пятьдесят выглядел старше и даже запущеннее. Очень любил читать, выписывал несколько журналов, покупал книги, в библиотеке ему всегда оставляли новинки. Он молча брал и молча приносил. Как-то заведующая попросила его высказаться о новом романе известного писателя на читательской конференции, на что редактор пожал плечами, но промолчал.

Дмитрий Борисович и сам забыл, что когда-то был немножко другим, чуть энергичнее, чуть эмоциональнее, в Уральском университете, где он учился на журфаке, в самодеятельности читал со сцены, имел успех, особенно по патриотической тематике. Маяковский в его исполнении был неповторим, голос и чувство завоевывали внимание слушателей, и зал обычно взрывался аплодисментами. На одном из студенческих концертов он увидел белокурую девушку, которая в паре с молодым человеком танцевала какой-то остроумный сюжетный танец. Стоя в кулисах, Дмитрий наблюдал за ней и восхищался, так она была грациозна и легка, мила и шаловлива. У стоявшей рядом однокурсницы спросил, кто та, что танцует, узнал, что с филологического, кажется, Середина. Дмитрий так и не уточнил ударение, Середина или Середина. Впрочем, какая разница, все равно он не подойдет и не будет говорить ей комплименты, и потому что не умеет, и потому, что сейчас его выход, «Стихи о советском паспорте». Громовым голосом он выдал знаменитую завершающую фразу, поклонился и ушел под грохот аплодисментов, в кулисах остановился, вытер платком лоб. Нервная дрожь легонько колотила его, но это было приятно, радовал успех, завтра декан непременно поблагодарит его перед лекцией, потому что декан в парткоме университета отвечает за идеологию, а Дмитрий и Маяковский очень даже этому способствуют. Он не сразу осознал, что есть еще одна причина для радостного настроения, эта маленькая светлая девушка со странной фамилией, надо бы найти ее, познакомиться. Он сам испугался этой мысли.

– Вот вы где, а я на выходе жду.

Она смотрела на него с обезоруживающей улыбкой, в короткой юбочке и белой кофте, в черных туфлях-лодочках. Лицо круглое в обрамлении волнистых светленьких волос, глаза голубые, губки чуть вздернуты, наверно, потому и нос тоже немножко вверх... Красивая!

– Я должна вам сказать, что вы очень здорово читаете Маяковского. Я бы тоже хотела, но у него стихи мужские, те, что можно со сцены. А вообще поэт – лирик, вы любите его лирику?

Никакой лирики Маяковского Дмитрий не читал и не знал, но молча кивнул, что любит.

– Это хорошо, – довольно сказала девушка. – Меня зовут Лиля, а вас?

– Дмитрий, Дима.

– Вы на каком?

– Журфак.

– А я литфак, филология. Третий курс. А вы?

– Тоже третий.

– Здорово! Пойдемте, или вы еще читаете?

– Нет, могу уйти.

Они вышли из дома культуры, где проходил праздничный концерт в честь годовщины Великого Октября, на город медленно падал снежок, закрывая вчерашнюю грязь, мутные лужи и черный тротуар. Лилия туфли несла в сумке, смело шагая в поношенных сапожках, Дмитрий в туфлях вынужден был прыгать через лужи, разметаив полы широкого плаща, под задорный смех своей красивой спутницы.

За двадцать минут пути до общежития Лилия рассказала о себе почти все: она из маленького уральского городка, родители учителя в третьем колене, ее так же воспитали, в семье еще брат и сестра, но брат в Армии, а сестренка в следующем году тоже придет поступать на филологический.

– Дима, вы почему молчите? Куда подевалась ваша сценическая мужественность и громогласность?

Дмитрий остановился:

– Вы меня извините, но я привык больше слушать, сцена – это совсем другое, а в жизни я... , наверное, стеснительный.

Лилия подошла к нему, приподняла кепку, надвинутую на самые брови:

– Давай перейдем на ты, что мы, в самом деле, как на балу?! Ты деревенский?

– Да, – обреченно признался Дмитрий и подумал: «Ну, все, это конец, сейчас она уйдет».

– Ой, как здорово! Я люблю деревню, каждое лето мы на месяц уезжали к теткам, у нас их много на Урале и в Курганской области, это сестры родителей. Чудные места и народ добрый. Ведь в деревне народ чище, чем в городе, согласен?

– Да, – кивнул Дмитрий.

– Расскажи о своей деревне.

– У нас село...

Дмитрий вспомнил о большом изгибе бывшего берега древнего моря или реки, ставшего местной горой, о своем старом селе Афонино, об одноименном озере, точнее – старице, в которой он дважды тонул в детстве, о таинственном и хмуром сельском кладбище, которое в начале века обосновал местный священник и на котором покоится прах его мамы. Он опасался, что Лиле это будет не интересно, но она слушала, сочувственно жала ему руку, когда он говорил о маме, смеялась, когда рассказывал о приключениях на рыбалке или в лесу.

У общежития Лилия сказала, что ей приятно было познакомиться с Димой, Дима буркнул в ответ, что ему тоже, и замолчал. Девушка улыбнулась:

– Дима, я жду, что ты назначишь мне свиданье хотя бы через день, завтра у нас семинар, я не смогу. Давай встретимся послезавтра?

– Да, – кивнул Дима.

– В семь часов вечера здесь же. Не забудешь?

– Не забуду.

Он был взволнован, очень рад знакомству и злился на свою беспомощность. Конечно, надо было еще в школе научиться танцевать, приглашать девушек, дружить, попробовать целоваться. А он влюбился сразу и безнадежно в самую красивую девушку класса и школы, мог только украдкой на нее смотреть, все знали о его влюбленности и все потешались над ним. Он очень страдал, когда она на школьных вечерах в тесном коридорчике танцевала под радиолу с ловкими и улыбчивыми парнями, когда на переменах смеялась в кругу одноклассников, в который он почему-то не мог войти. Он вообще казался чужим, не ходил в кино, всем прочим занятиям предпочитал книги, и только несколько раз в году становился героем школы, когда под давлением учительницы литературы Веры Алексеевны участвовал в концертах и конкурсах чтецов, занимая первое место.

В год окончания школы Дмитрий Витюков стал печататься в районной газете, его пригласили на районное совещание внештатных корреспондентов, и он там толково выступил, тогдашний редактор назвал его очень перспективным журналистом. С тех пор Дмитрий окончательно потерял покой, много занимался, готовился к вступительным экзаменам в университет. На выпускном вечере та красавица призналась ему, что ей приятны его чувства и что он тоже ей нравится, но Дмитрий к тому времени уже остыл, и этот разговор остался без продолжения.

Как он был благодарен и признателен Лиле, она не ждала его инициативы, не рассчитывала на его сообразительность, сама покупала билеты в кино и театр, сама подводила его к кафе и, смеясь, приглашала. Он смущался, что-то лепетал, но все проходило вполне пристойно. К Новому году Дмитрий с ребятами заработал хорошие деньги на разгрузке вагонов, они устроили вечер с шампанским и богатыми закусками. Лиля была рядом с ним, они танцевали, Димка после шампанского осмелел, приглашал ее снова и снова, Лиля беззаботно смеялась и тихонько ойкала, когда партнер в очередной раз наступал ей на ногу.

Погода была морозная и ветряная, окно комнаты затянуло развесистыми узорами, от прогулки по улицам сразу отказались. Теснились, танцевали, задвинув в угол стол. Пока меняли пластинку, Лиля шепнула Димке на ухо:

– Давай уйдем.

– Куда? – не понял он.

– В коридор выйдем?

Они незаметно вышли, Лиля потянула его за руку подальше от шумной компании.

– Димка, мне скучно, – нежно глядя ему в глаза, сказала Лиля.

– Что я могу сделать, чтобы тебя развеселить? – несмело спросил он.

– Пойдем в нашу комнату, девчонки разбежались, мы будем одни.

В комнате было непривычно тихо, все аккуратно прибрано, Лиля сказала, что не будет включать свет, от уличных фонарей все видно. Она подошла к Димке, положила руки ему на плечи:

– Дима, поцелуй меня.

Димка понимал, что так и будет, уже был готов, осторожно взял ее головку в руки и неожиданно крепко поцеловал. Она с облегчением вздохнула, уткнулась в его грудь и прошептала:

– Господи, я уж боялась, что ты на это никогда не насмелишься.

Димка тяжело дышал и сердце его колотилось.

– Лиля, да, я трус, я боюсь сделать что-то не так, обидеть тебя и отпугнуть. А сегодня осмелел, теперь все время буду тебя целовать.

Они долго сидели на кровати, обнимаясь и целуясь, Димка ощущал трепетное тело девушки, упругую грудь, ее прерывистое дыхание. Она была так близко, только одно движение, и кнопки блузки распахнутся, а юбочка и без того сбилась, но он вздрагивал и одумывался.

Когда постучались Лилины подруги, оба они были измотаны и обессилены, Лиля открыла дверь и включила свет. Димка смущенно жался к пустому столу.

– С Новым Годом, Дима!

– С Новым Годом, девчата! Лиля, я пойду.

Она вышла его проводить, он хотел обнять ее, но Лиля убрала руки:

– Иди, уже поздно.

– До встречи, Лиля.

– До свиданья.

– С Новым Годом!

– С Новым Годом!

Дмитрий Борисович и теперь, в зрелом возрасте и приличном уме, не нашел бы ответа на вопрос, что же именно изменилось в их отношениях с Нового Года, но точно Лиля переменилась, стала сдержанней, сромнее, что ли, при избытке его скромности их прогулки и беседы были просто товарищескими и очень краткими. Димка не обращал на это внимания, предполагая, что Лиля усиленно готовится к экзаменационной сессии, даже пытался поцеловать девушку при прощании, и иногда это ему удавалось.

Сессия и его закружила, он все сдал успешно и проводил Лилю на поезд.

– Я буду очень скучать без тебя, – сказал он.

Лиля улыбнулась:

– Наверное, нет, ты будешь читать книги и писать курсовую, помнишь, ты говорил?

Да, он говорил, и будет писать, но и скучать тоже будет.

– Дима, скажи, ты действительно любишь меня или ты привык ко мне и считаешь, что вот так и будет всегда?

Он растерялся, не зная, как ответить, что он действительно не представляет свою жизнь без нее, что да, он привык, и что это и есть любовь, наверное... Но он промолчал, потому что вышла проводница и попросила пассажиров пройти в вагон.

– Дима, ты подумай об этом, подумай, а встретимся, ты мне все скажешь.

За две недели каникул он ничего не прочел и ничего не написал, проклинал, что не взял Лилин адрес, чтобы вызвать ее на телефонные переговоры, приехал в Свердловск на два дня раньше, вечером перед началом занятий на стук в дверь комнаты она, наконец, вышла.

– Лиля, здравствуй, как я рад, что ты приехала! – Он обнял ее, она не сопротивлялась, но никак не отреагировала, при всей своей неопытности даже Димка это заметил. – Что с тобой, Лиля, ты нездорова?

Она грустно улыбнулась:

– Лучше бы я заболела, может, не было бы этих дурацких мыслей. Ладно, Дима, иди к себе, я буду разбирать вещи и готовиться к занятиям.

– Мы завтра встретимся? – тревожно спросил он.

– Наверное. Приходи, как всегда, в семь.

Какие-то странные были эти свиданья, они больше молчали или говорили о ничего не значащих пустяках, уже не ходили в кино с билетами в последний ряд, чтобы никто не мешал обниматься. Лиля не отказывалась от встреч и была им совсем не рада, через полчаса ссылалась на неотложные дела и уходила, холодно попрощавшись.

Димка не знал, что делать, он видел, что теряет ее, что это страшная для него потеря, но что можно изменить, никто не скажет, и она тоже молчит. С ребятами он эту тему не обсуждал, хотя они интересовались: «Что у вас там произошло?».

В мае, после большого концерта в честь дня Победы, Лиля при прощании сказала:

– Дима, у меня день рождения завтра, я тебя приглашаю.

Он обрадовался, весь вечер думал, что ей подарить, но с деньгами было туговато, потому товарищи посоветовали остановиться на цветах. Ближе к вечеру он поехал в цветочный магазин, но там было закрыто, он кинулся на площадь, потом на вокзал, на перроне с явной переплатой купил мимозы, большой букет.

Он эти цветы с тех пор терпеть не может, даже на открытках, и букет этот запомнил на всю жизнь. Когда он вошел, в комнате было несколько девушек, все уже знакомы, он подошел к празднично одетой имениннице и с поклоном протянул букет.

– Спасибо, Дима. – Она привстала на цыпочки и почти как брата поцеловала его в щеку. Девчонки засмеялись, все хвалили букет.

Вдруг пошел дождь, с сильными порывами ветра, окно пришлось закрыть, тем более, что началась гроза, молнии рвали небо, а гром ударялся прямо в крышу общежития.

За столом Дима сидел напротив Лили, ухаживал за соседками, поддакивал тостам и даже сам сказал, что сегодня все тосты за именинницу, что незамедлительно было одобрено застольем. Димка напрасно ловил ее взгляды, она старательно избегала встречи и наигранно смеялась всякой шутке. Вдруг дверь отворилась и в комнату – не вошел – влетел молодой человек в мокрой рубашке, сам весь мокрый от дождя, но впереди себя он нес беремю распутившейся сирени.

Димка знал этого парня, он с юридического, большая умница, папа у него где-то в верхах, парень был модным и пользовался успехом у девушек, так все говорили. Димка пытался сообразить, как тот здесь оказался, ведь не могла же Лиля его пригласить?

– Мне сказали, что в этой комнате празднуется день рождения красивой девушки. Нет-нет, не надо подсказок, я никогда не пользуюсь шпаргалками, дайте мне определить, кто она.

И парень безошибочно потянулся со цветами к Лиле, да и невозможно было ошибиться относительно той, что сидит во главе стола. Лиля была до неприличия счастлива, она охватила букет обеими руками, бутоны выпадали на стол, прямо в тарелки с салатом, все разом заговорили, возле именинницы совсем некстати образовалось свободное место, и парень перелез к нему чуть не через весь стол. Лиля все еще стояла со цветами в руках и вдруг громко сказала:

– Хочу, чтобы все знали: нет для девушки более чудного подарка, чем мокрая от весеннего дождя сирень, это самые красивые цветы на свете.

Димка вдруг ощутил такую пустоту вокруг себя и такую тоску, что едва не заплакал, тихонько вылез из стола и вышел. Больше он к Лиле не подходил.

На четвертом курсе он заметил, что девушка на раздаче в студенческой столовой очень заинтересованно на него смотрит, и порции у него намного солиднее, чем у товарищей. Однажды вечером Димка встретил ее у выхода с кухни, они познакомились, в первый же вечер на лестничной площадке ее дома до полуночи целовались, а через месяц сыграли свадьбу. Тамара родила ему троих детей, кормила борщами и котлетами, похожими на студенческие, и изредка ворчала, что поторопилась замуж за деревенского и уехала из города. Дмитрий Борисович не обращал на ее слова никакого внимания, брал книгу и уходил на диван в дальней комнате. В книгах часто описывали счастье, о котором он так немного знал.

14-16 марта 2009 года

Встреча

Условия тендера на строительство спортивного комплекса в своём родном городке Владимир Порфирьевич увидел в Интернете случайно, и хоть давно оттуда уехал, а после перевез и родителей, так что никого на родине не осталось, но неожиданная находка как-то встревожила, даже взволновала, ночами вдруг стали приходить картины, которые никогда до этого не вспоминал. Он окончил строительный институт, дослужился до главного инженера строительного треста, перспективы открывались необозримые, но всё пошло кувырком, у треста не оказалось заказов, потом финансирования, начальник как-то утром сухо с ним попрощался и уехал в Москву, насовсем. Правда, после выяснилось, что он успел продать все запасы стройматериалов, но тогда это никого не взволновало. Владимира Порфирьевича пригласил крупный чин из администрации области и предложил без тени смущения: отдай мне базу комплектации, а всё остальное забирай себе. Как забирать – он не знал, но юристы администрации в несколько дней оформили нужные документы, и три городских организации стали его собственностью.

Скоро «Стройсервис» Венгеровского стал ведущей кампанией в городе, он без труда выигрывал конкурсы на самые выгодные объекты, научился давать на лапу и даже сам устанавливал проценты отката. Новый мэр города попытался приручить бизнесмена званием депутата законодательного собрания, но на встрече в его кабинете поздним вечером Владимир Порфирьевич после рюмки коньяка сказал, что его совершенно не интересует общественное положение, что его задача строить и строить. Мэр вежливо согласился, но тут же возразил: строить Венгеровский будет только тогда, когда этого захочет он. Владимир Порфирьевич быстро сообразил, что тональность надо снижать и напрямую спросил, сколько надо мэру, в месяц. После минутных торгов сошлись на сумме, и через пару месяцев главный строитель стал депутатом.

Когда коммунистическая газета опубликовала большую статью о мутных делах в «Стройсервисе» с указанием заработной платы каменщиков, монтажников, отделочников и годового дохода хозяина, его отец, фронтовик и партиец, всю жизнь проработавший слесарем в железнодорожном депо, весь вечер крыл сына матом и называл жуликом. Дело кончилось полным разрывом, Владимир Порфирьевич вызвал из деревни сестру, купил ей большую квартиру и перевез туда отца, назначив хорошее содержание.

Дети выросли и проучились в Европе, но Владимир Порфирьевич не увидел в них помощников и обоих сыновей отправил в столицу, хорошо проплатив их теплые места. Домик себе он построил на первые серьёзные доходы в пяти километрах от города и жил там с женой, тайно от неё имея скромный коттедж в центре для гостей и женщин, с которыми время от времени уединялся, предупредив всех, что уехал по делам. Он никак не вмешивался в политику, не давал интервью и даже издевался над коллегами–депутатами, которые не упускали возможности полепетать с экрана телевизора. У него не было друзей и врагов, ничто за пределами строительного бизнеса его не интересовало, и такую жизнь он считал единственно возможной и интересной.

Известие о строительстве стадиона в родном городке стало всё незаметно менять. Вспоминались школьные товарищи и друзья юности, уютный городок, с которым простился, уходя на службу в армию, и бывал там пару раз, пока учился в институте. Всё давно забылось, ан нет – вдруг всплыл в памяти одноклассник Толя Синилов, постоянный конкурент на спортивных соревнованиях, в одиннадцатом классе вырвавший у него победу в кроссе на последних метрах, чем вызвал стойкое неприятие и злобу. Ещё невзрачный Витя Кизеров вспомнился, вдруг оказался соперником в симпатиях к Настеньке, милой и скромной девушке, дружбы с ней искали все парни, но только с Володей она гуляла после школьных вечеров отдыха. Витя совсем было выпал из его интересов, но Настенька стала избегать Володи, а на выпускном вечере открыто призналась в

чувствах к этому веснучатому и не особо броскому пареньку. Володя был тогда сильно обижен, напился портвейна и наговорил гадостей Настеньке. Впрочем, с Витей у неё ничего не получилось, ему писал кто-то, что Настенька вышла замуж за своего однокурсника в пединституте.

Понимая, что просто так ничего не бывает, Венгеровский справедливо отнес свое внезапное беспокойство к проишкам наступающей старости, всё-таки далеко за пятьдесят, и хоть плоть ещё крепка, два отпуска на заморских пляжах и постоянная забота личного доктора дают результат, но есть ещё нечто, способное перевернуть устоявшуюся жизнь и разбудить чувства, о которых и не подозревал. Скоро стало ясно, что в родной городок придётся ехать и купить право на строительство стадиона. Его не интересовала материальная сторона, пусть даже фифти-фифти сработает на этом объекте, но он его построит, пусть наездами, но побывает в городке, возможно, встретит знакомых, встряхнётся, успокоит душу.

Предварительно договорившись о встрече с главой городка, Владимир Порфирьевич выехал рано утром, чтобы к обозначенным пятнадцати часам быть на месте. Водитель Роман, молодой, но за отдельную плату прошедший подготовку в учебном центре спецслужбы, уверенно вёл джип по истерзанной большегрузами дороге. Венгеровский не дремал, вопреки обыкновению, с удовольствием смотрел на выходящие из-под снега поля, потемневший от набрякших почек лес, радовался чему-то, как будто впервые видел. До родных мест ещё далеко, но волнение уже охватывало его, в таких вот лесках, прострельных берёзовых, мальчишки почти деревенских пригородов пропадали целыми днями не просто убивая время, а добывая кой-какое пропитание к скромным семейным достаткам. На берегу вот такой же речушки загорали после купания, тут же ловили окуней и раков. Венгеровский вовремя ощутил слезу, скатившуюся по щеке, подобрал её платком и отвернулся от водителя, чтобы, не дай Бог, не заметил.

Главе города он сказал, что готов на любые условия получения подряда, тот ответил, что наслышан о мощной строительной кампании и будет очень рад, если она возьмётся за комплекс, но его смущает выраженное желание господина Венгеровского, ведь объект в пятистах километрах от «Стройсервиса», это такие затраты и сложности управления. Тогда Владимир Порфирьевич открылся: это мой город, и я хотел бы поучаствовать в его обновлении, тут же предупредил, что вынужденное откровение должно остаться в кабинете.

Глава пригласил специалистов, на широком полированном столе разложили проект, Владимир Порфирьевич быстро оценил степень его сложности, глянул на итоговую цифру сметной стоимости. Когда ушли специалисты, Венгеровский написал на листке и сказал, что даст в заявке эту цену, она значительно меньше сметы, так что соперников не будет. Он тут же добавил, что готов вознаградить хозяев, если его просьба будет удовлетворена. Глава смутился, попросил на эту тему больше разговора не заводить и предложил зайти в конце рабочего дня, к этому времени он постарается решить все вопросы, чтобы дать земляку положительный ответ.

У ресторана он отпустил водителя, потому что хотел побыть один, заказал обед, выпил рюмку коньяка. Обслуга, знавшая своих постоянных клиентов и видевшая шикарный автомобиль гостя, старалась угодить и мешала думать. Он только что ездил к своей школе, её нет, стоят два уродливых коттеджа, но густые заросли черемухи и сирени сохранились в дальнем углу, вот тут пятиклассниками играли в чикку, а в девятом классе он целовался с девочкой из восьмого, она потом до последнего звонка за ним бегала, но чувства не было, а по другому юность не может. Как её звали? Валя... Галя... Катя..., кажется, Катя. А она любовно звала его Вольдиком, откуда взяла такую форму имени, скорее всего, сама придумала. Венгеровский улыбнулся: какой замечательный пласт своей жизни он упустил, совсем забыл, хорошо, что случай выпал и свёл с дорогим прошлым. Надо поручить юристам, чтобы нашли одноклассников, а потом устроить встречу, учителей найти, кто ещё жив, расходы он возьмёт на себя.

Владимир Порфирьевич погулял по центральной улице, она не очень изменилась, мало новоделов, старые дома кое-как приведены в порядок, но зелени, как и в те годы, с избытком. Вглядывался в лица, порой попадались напоминавшие кого-то, но он знал, что такое бывает, потому не придавал значения. Да и встречаться с кем-то сейчас не очень хотелось.

Из кабинета главы городка он спускался по широкой мраморной лестнице чуть усталый, но довольный положительным решением своего странного вопроса, глава заверил, что вопрос согласован с губернатором и подряд будет передан «Стройсервису». Рабочий день окончен, уборщица в синем халате уже трет пол вестибюля, но яркий свет ещё заливают парадный марш. Венгеровский осторожно ступил на влажный мрамор, боясь поскользнуться.

– Вольдик!

Он вздрогнул и остановился, в тот же миг пронеслось в голове издевательское: до глюков довели воспоминания.

– Вольдик, это ведь ты, не исчезай!

Венгеровский оглянулся: уборщица в синем халате с улыбкой далёкой восьмиклассницы смотрела на него. Он кивнул:

– Да, я Венгеровский. А вы – Катя, Екатерина?

Она обрадовалась:

– Да, Катя, а почему ты со мной на вы?

Он смутился:

– От неожиданности. Извини.

– Ты откуда приехал? На приёме был? Не переживай, если отказали, они теперь нашего брата не понимают. Говорят, капитализм.

Он согласно кивнул.

– Ты спешишь? Я столько лет тебя не видела! Давай выйдем в сквер, посидим на скамейке. Фрося, я потом домою, ладно?

Они вышли. У Кати только улыбка осталась от прошлого, глаза потухли, лицо посерело, она ссутулилась. И голос тоже остался прежний.

– Как живешь, Катя? – спросил Венгеровский, чтобы хоть как-то поддержать разговор.

– Живу, Вольдик, как все. Пенсия плохонькая, но и за то спасибо. Работаю вот. Муж у меня больной и сын в тюрьме сидит, после Чечни на рынке торгашей погонял. Я после того совсем не своя стала. А ты как?

– Да живу..., – неопределённо буркнул Владимир Порфирьевич и добавил нелепо: – Как все.

– Тоже тяжело, выходит. Сам выкручивайся, Вольдик, сюда не ходи, им не до нас. Я вот бычью голову сегодня купила, у частника, так что и язык целый. А то брала у хачиков, всё, язык выдран, а это же деликатес. Я тебе подскажу, Вольдик, как голову обрабатывать надо, ты свою жену научишь. Первое – проси, чтобы глаза сразу убрали, я не могу, когда она на меня смотрит, жутко. Потом с челюстей мясо ножом срежь, а челюсти выбрось, зубы варить тоже неприятно. Пипку сразу отруби, ни к чему она. Дальше топором раздели коробку и водой залей, вымочи хорошо, в нескольких водах. Мясо тогда красивое делается, белое. Потом варить на тихом огне, часа два-три, только кроме соли ничего не клади. Пусть остынет, и в таз, кости выберешь, а мясо, мозги, всё, что там есть, через мясорубку пропусти и в банки. Потом хоть суп варить, хоть в кашу добавить, вкусно. Язык я отвариваю и, как картошку от мундира, освобождаю от кожи. А потом в салат вместо колбасы хорошо, колбаса-то сейчас – не пойми, что, зато деньжищи... А это натуральное и своё. Запомнил?

Венгеровский тупо кивнул.

– Тебя ждут, наверно. Ты иди. Вольдик, я тебя всю жизнь помню, всё помню до ниточки.

Хорошо, что ты со мной не связался, а то мучился бы сейчас. Я, видно, проклята при рождении. Ты иди, мне ещё мыть надо гектар.

Он встал. Как уходить? Попрошаться или сказать до свидания? Пообещать, что ещё увидимся? Соврать?

– Прощай, Вольдик, ты мне, как в награду, привиделся. Прощай.

Она не стала дожидаться ответа, медленно пошла к освещённому крыльцу.

В машине он долго крепился, потом охватил голову руками и завыл. Водитель с испуга резко затормозил, выскочил из машины, открыл дверь со стороны шефа. Владимир Порфирьевич низко опустил голову и рыдал. Роман предусмотрительно отошел в сторону. Через несколько минут шеф окликнул его знакомым командным голосом и приказал забыть всё, что тот сегодня видел.

7-8 марта 2010 года

Женитьба Золотухина

Нет, не напрасно грозился партийный секретарь, что за аморальное поведение передаст дело, он так и сказал, что дело, – передаст в райком, и пусть там с ним разбираются. Семену Золотухину противно было, что в его жизнь вмешиваются посторонние, терпимо, когда это касается работы, тут никуда не попрешь, заместитель председателя по животноводству кругом подотчетен, но с бабами-то позвольте самому разобраться. Ничего подобного, в последний раз партторг пригрозил:

молва идет, потому собирайся, член партии, в райком и объясняйся, почему ты на старости лет с ума стал сходить, забросил дом, жену свою, с которой прожил без малого сорок лет, и почти перешел к одинокой Анне Бородиной.

Конечно, со стороны это невозможно понять, потому что и года уже подпирают, и семья у Семена Федоровича была немалая, два сына и дочь, теперь в чужих краях живут, давно на своих ногах. Жена бессловесная, никогда поперек слова не скажет, со всем согласна. Дом приличный, хозяйство, мотоцикл «Урал» ему через райком выделили, считай, первому в колхозе. Со стороны посмотреть: что не жить? А он зачастил к чужой бабе, да и не особо скрывался, а когда в колхозной бухгалтерии женщин за обсуждением непутевой Анны застукал, спокойно сказал враз онемевшим, что Анна теперь жена ему, фактически жена, и что формальности все для людей они на днях оформят.

Вскоре после этого в райком поехал, на всякий случай партийный билет с собой взял, Анну успокоил: никакого значения для них этот разговор не возымеет, разве что ускорит события да кровь немного попортит.

Первого секретаря Рыбакова Семен хорошо знал, тот в колхозе бывал частенько, заместителя уважал, советовался по хозяйственным делам, но была за первым нетерпимость к вольным проявлениям, например, пристрастия к спиртному он не прощал, а еще любовных приключений. Поговаривали, что в молодые годы Рыбаков сам был ходок еще тот, но со временем образумился, да и должность уже не позволяла вольничать, все-таки деревня, не спрячешься, люди все видят. В душе Семен заранее смирился с любым решением райкома, но как-то занозило, партбилет он на фронте получал, правда, тот давно отняли и выдали в порядке обмена новый, но год-то вступления обозначен, 1943-й. Знатное было время, по всем фронтам наступали, Семен в роте автоматчиков один остался от первого призыва, всех друзей схоронил или по госпиталям растерял. Отдашь билет – как часть памяти выбросишь.

Перед самым обедом секретарша позвала его из коридора, он вошел в кабинет, в котором не раз бывал на совещаниях. Рыбаков кивнул, не вставая, и руки не протянул, это Золотухин отметил и заодно утвердился, что добра ждать не приходится.

– Садись, – сказал хозяин кабинета. Гость примостился на крайний стульчик. – Рассказывай, Семен Федорович, как дошел до такой жизни.

– Вы про работу или про что, Василий Петрович? – неожиданно для себя переспросил Семен.

– Ты дурака-то не валяй, мы с тобой не тридцать ли годов знакомы, так что давай начистоту, что там у тебя с семьей?

Золотухин хотел было сказать, что семьи у него давно нет, как детей проводили, так и нарушилось все, будто они развезли с собой все благополучие и благопристойность этого завидного дома. Куда-то в пустоту провалились беззаботные дни семейной радости, когда после долгого дня на работе он приходил домой, мылся в баньке, заботливо протопленной хозяйкой, говорил с ребятишками об учебе, об играх, о книжках прочитанных. Не было для него другой жизни, работа и семья, жена и дети. Конечно, не насильно его женили, к тому времени такая мода прошла, сам выбрал свою деревенскую, сразу после демобилизации. Он пытался после определить границу между нормальной жизнью и ее утратой, и находил эту грань как раз на прощании с дочкой, которая после техникума вышла замуж и без свадьбы уехала на Север. Родители остались вдвоем, и сразу стало заметно, насколько они чужие без детей. Семен испугался своего открытия, но каждый день подтверждал, что это правда. Нет, он не ругался с женой, не устраивали они скандалы на всю улицу, как это бывало кое у кого, и сковородками друг в друга не швырялись. Опустела вдруг душа, жену ни в чем не винил, да и сам долго не мог разобраться, почему пироги стали невкусными, почему незаметно стал ночевать на диванчике, сначала как бы случайно засыпал под телевизор, потом и вовсе перебрался.

– Что там у тебя с семьей?

– С женой разводиться буду, Василий Петрович, так получается.

– Ты к женщине этой совсем перешел, с вещами?

– Пока нет, иногда дома ночую, хозяйство все-таки, надо поддерживать.

Секретарь встал из-за стола, прошелся по кабинету:

– Нехорошая картина вырисовывается, Семен Федорович, для руководителя, для члена партии, что люди говорят, ты знаешь? А говорят, что коммунист не может вести аморальный образ жизни. Ты согласен?

Семен напрягся:

– Не согласен, Василий Петрович, потому что коммунист тоже человек, а у человека чувства есть, как тут быть? В уставе нигде не написано, что я должен жить с нелюбимой женщиной.

– Ишь ты, какой теоретик, под свое многоженство уже марксизм подвел. Ладно, не пузырись. Ты кругом не прав, потому слушай. Выговор по партийной линии ты получишь, на работе оставим, тебе сколько до пенсии?

– Два года.

– Доработаешь, там посмотрим. Имей в виду, поблажка тебе только за счет твоих заслуг, а что касается женщин, ну, подумай сам, Семен Федорович, дай сегодня волю – половина мужиков своих баб бросит, ведь так?

Золотухин опять хотел сказать, что партийной дисциплиной семью не удержишь, но перечить не стал.

Анна увидела его в окно и выскочила в ограду, встретила у калитки. Семен обнял ее, пригладил выбившиеся из-под платка волосы, вытер набежавшие слезы. Ему стало легко и просто, так всегда было, когда он приходил к ней. Он давно заметил эту работающую женщину, громкоголосую, но безвредную, она не жаловалась никогда, а прямо высказывала все претензии телятницы к руководству, Семен Федорович старался поправить дела, чтобы в следующий раз вопросов было меньше. Он и сам не заметил, что зачастил в телятник, заботиться о подрастающем молодняке входило в его обязанности, но многие животноводы видели, что не все так просто.

Тогда же устроили на ферме встречу Нового года, голубой огонек назвали, посидели за столом в красном уголке, выпили, песен попели, даже потанцевали под гармошку, скотник Пантелей Шубин съездил домой, привез хромку. Расхотелись уже под утро, да так вышло, что мимо дома Семен утянулся вслед за Анной, догнал ее в калитке, придержал за рукав:

– Что же ты от меня бежишь, Анна, брезгуешь моими годами?

– Разговоров боюсь, Семен Федорович, жена у тебя и работа ответственная.

– В избу-то пустишь?

Она молча прошла в ограду, открыла дверь, в избе включила свет, задернула занавески на окнах, присела к печке и подпалила приготовленные заранее дрова. Не снимая полушубка, он привалился к столу, положил шапку на подоконник.

– Закурить разрешишь?

– Кури, вот блюдечко под пепел.

– Анна, я есть хочу, салаты-винегреты не по мне. Не дай с голоду помереть.

Она пихнула на элетроплитку кастрюльку с водой, сунула в нее кипятильник и принесла с мороза мешочек с пельменями. Порезала булку подового домашнего хлеба, из подполья достала грузди, огурцы и капусту, открыла банку помидоров, поставила бутылку водки. Готовые пельмени выложила в глубокую тарелку и залила бульоном:

– Угощайся, Семен Федорович.

– А себе рюмку?

– Не пью я совсем.

– Со мной. Прошу, Анна.

– Ради тебя только. С Новым годом, Семен Федорович!

Она пригубила рюмку, сморщилась и закусила грибочком. Семен густо обсыпал пельмени перцем, полил уксусом и хлебал деревянной ложкой вместе с бульоном.

– Анна, отчего замуж не выходишь? Женщина ты видная, все при всем, есть на что посмотреть, на работе молодец, в доме у тебя порядочек.

Анна смахнула слезу:

– В молодости не повезло на доброго мужика, а потом где его взять, толковые все прибраны, а бросовые мне не нужны, лучше одной мучиться.

– Меня не прогонишь сегодня?

– Не прогоню. Только до света домой уйдешь, чтоб не видел никто...

Давненько это было, с той поры жизнь Семена стала другой, с тайным неведомым смыслом, он в свою ограду заходил как в чужую, свою скотину управлял, как соседскую, когда хозяева уезжали дня на три в гости к детям, зато обрел Анну, в ее избе с отгороженной маленькой горенкой было тепло и уютно, и он не задумывался о причинах этих перемен, только удивлялся уже почти забытому чувству влюбленности. Гнал, конечно, от себя такие мысли, но никуда не денешься, с Анной не просто баловство, как иногда случается, а душевное и сердечное, и это его радовало.

С женой объяснился спокойно, хотя тянул до последнего, она сама и попросила уйти.

– Переходи к ней совсем, Семен, не позорь сам себя, да и детям надо сообщить, а то в каждом письме спрашивают.

– Ты не переживай, я кроме своего барахла ничего не возьму, да мотоцикл еще. Деньги с книжки на твою переводу, половину. Детям напиши, как есть, пусть потерпят с выводами, потом поймут, с годами. Не суди меня строго. Прощай.

Утром на двери колхозного правления Семен увидел объявление о партийном собрании с повесткой «Персональное дело члена КПСС Золотухина С. Ф.», не заходя к себе, прошел в кабинет парторга.

– Собрание ты назначил?

– Не я, а партком по согласованию с райкомом. Твое поведение надо обсудить.

Семен чувствовал, что кровь закипает, но взял себя в руки:

– Убери объявление, не смеди людей. Что же вы, как вампиры, любите в чужих жизнях копать и кровь пить? Есть у тебя пара подручных ораторов, они сами уже ничего не могут, ни бабу обнять, ни ста грамм выпить, потому готовы растерзать любого, кто выпьет и обнимет. До чего же вы мне надоели со своей дурью! Сними объявление, а я сейчас вернусь.

Он прошел в свой кабинет, открыл сейф, взял партийный билет, аккуратно отделил фотографию от бумаги и вернулся в партком. Секретарь говорил по телефону, увидев вошедшего, крикнул в трубку:

– А вот и он сам! Хорошо, передаю.

И протянул трубку Золотухину.

– Слушаю, – сказал Семен.

– Здравствуй, Рыбаков. Ты чего там вольничашь? Говорят, совсем перешел к своей любовнице? Зачем требуешь объявление снимать?

– По мне, пусть висит, Василий Петрович, только я на собрание уже не пойду.

– Как не пойдешь, ты что задумал, Семен?

– Уже решил. Чтобы партию не позорить, сдаю партбилет.

– Обожди, не дури, я приеду на собрание.

Золотухин устало улыбнулся:

– Не надо ничего предпринимать, я все решил. И за должность не держусь, раз беспартийный – на рядовую работу пойду, ты же знаешь, Василий Петрович, что я мужик работающий.

И положил трубку.

29 марта – 11 апреля 2009 года.

Елена из прошлой жизни

День выдался сумасшедшим, пять часов мы гоняли лося, пересекая взрыхленные поля, мелколесья, несколько раз стреляли, но толи расстояние большое, толи выстрелы были откровенно неудачными, зверь уходил. Тем не менее, кровь по следу появилась, а стоявший на выходе из леса водитель хозяина сообщил по телефону, что лось только что прошел в полукилометре от него и припадает в правую сторону.

– Ранен в обе ноги, это точно, надо гнать, – скомандовал егерь.

Снег был не очень глубокий, но отсутствие тренировок троих бойцов скоро вывело из строя. Геннадий остановился, достал из-за пазухи мобильник:

– Все, командир, мы втроем, я, Иван и Андрей, уходим на базу.

Тот, видимо, сказал что-то о праве на пайку.

– Да пошел ты со своим мясом!

Едва уставшие неудачники дошли до фазенды, в глубине леса прогремели выстрелы и шеф скомандовал водителям, чтобы гнали пару снегоходов. Японские моторы взревели в морозном воздухе, и через час снегоходы приволокли тушу лося и взмокших охотников на длинном фале.

Пока рабочие разделывали тушу, мужики парились в горячей бане, то и дело выскакивая на снег и купаясь в нем, протирая друг другу спины. В белоснежных байковых простынях, похожие на римских патрициев, охотники упали на низенькие диваны в огромном зале с большим круглым и очень низким столом. Двое молодых людей в белых костюмах и колпаках внесли серебряный поднос, на котором красовалась целиком зажаренная косуля, оставшаяся от вчерашней охоты. Еще на одном подносе в глубоких тарелках нежились груздочки, торчали соленые огурцы и помидоры,

крупными кусками вершились несколько посуды с нельмой, осетриной, лососем и местным сырком. Горячая картошка аккуратно сложена горкой и дышала как вулкан.

На столе появились бутылки с коньяками, водкой, бренди и виски, настойками, пивом и даже бражкой. Каждый наливает себе сам – такой порядок. После первого стакана заговорили о сегодняшней гоньбе, кого-то беззлобно ругали, кто-то пытался сердиться. Но все были давнишними друзьями, только Андрей, немолодой уже человек, появился недавно, как друг детства Ивана, и обид никаких не принималось. Когда обсудили все детали охоты, официант доложил, что туша разделана.

– Сегодня делим только ляжки, все остальное ребятам, они славно поработали. Кому заднее бедро?

Кто-то поднял руку.

– Еще одно?

Все молчали. Владимир решительно скомандовал:

– Андрей, ты не стесняйся. Заберешь задок.

– Я даже до конца охоты не выдержал, не имею права.

– По правам здесь я уполномоченный! – Хозяин засмеялся своей шутке. – Ладно, взамен расскажешь какую-нибудь историю.

Выпили еще, рассказали пару анекдотов, и Григорий вспомнил:

– Андрей, с тебя история интересная. Ты столько путался по свету, расскажи.

Андрей сменил позу на низком диване, просто присел на корточки.

– О чем? Белый медведь чуть не задрал, лапой сорвал сзади меховую фуфайку. Падал в пролом в горах, трое суток искали, двое доставали. В Лувре довелось побывать, встречался с Фиделем.

– К черту Фиделя и фуфайку, расскажи про баб. Ты в загранке столько баб видел! – азартно крикнул Григорий.

– Не больше, чем ты по телевизору, а в остальном разницы никакой. – Было заметно, что он никак не может решиться на что-то. – Впрочем, подождите, есть у меня одна история, я ее никому не рассказывал, но она, на мой взгляд, многозначна. По крайней мере, у меня есть основания ее вспоминать и размышлять, все ли я сделал так, как надо было бы. Можно?

– Секс будет?

– Скорее, нет.

– Ладно, валяй.

– Хорошо. Было это в начале моей карьеры, то есть, я был еще на партийной работе, на скромной должности районного уровня. У меня семья, два сына, жена, квартира и перспектива. Но – на одном мероприятии вижу женщину, и все, мне под тридцать, ей чуть за двадцать, замужем, дочь годовалая. Мучился недолго, поехал в обком, все рассказал, первый связался с Краснодаром, там был еще Медунов, и после нескольких неприятных процедур я с новой семьей лечу в Краснодар. Было принято решение до урегулирования всех формальностей с разводами и прочим поддержать меня в районном городке при райкоме. Но квартиры нет, живу во флигеле, так там зовут наши избышки на огаде. Однажды первый секретарь райкома присылает машину, и меня подвозят к шикарному особняку.

Да, ребенок пришел оформлять в детский сад, а документы на отцову фамилию. Надо сказать, что мне было запрещено придавать огласке развод и новую женитьбу. Но есть бумаги! Я все предельно кратко объяснил заведующей детским садом, и она записала дочь на мою фамилию. Так вот, хозяйка особняка, видимо, предупрежденная, вышла встречать. Бог ты мой, это же наша заведующая Елена Николаевна. Сопровождающий работник райкома говорит, что эта квартира главного инженера-строителя сельхозуправления, но его перевели в область, на днях там решится вопрос с жильем, и мы сможем занять этот домик. Хозяйка встретила радушно, но я этому радушию не поверил. Она пригласила во двор, показала гараж, баню, подвал, что-то еще. Потом пошли в дом, огромные комнаты, по тем временам просто шикарная обстановка. Я отказался заглядывать в комнаты и, чтобы хоть что-то сказать, попросил Елену Николаевну предупредить меня о возможном переезде.

Месяца три мы жили в избышке, хотя никаких проблем, начиналась весна, было тепло, как в Сибири в мае. При встрече Елена Николаевна краснела и отводила глаза, мне тоже было неловко за тот бесцеремонный осмотр. Но у нее-то, оказывается, были другие причины. Наконец, меня пригласили в Краснодар, и я получил назначение в одну из союзных республик. Жену с ребенком отправил к ее родителям, сам остался на один день улаживать дела в райкоме и военкомате.

Накануне утром пришел в детский сад и попросил Елену Николаевну подготовить необходимые документы. Она закрыла лицо руками и убежала, но к вечеру бумаги были готовы. Я поручил товарищам отправить по указанному адресу некоторые наши вещи, упаковал чемодан и собрался ложиться спать: моя машина подойдет в пять утра.

Неожиданно в дверь постучали.

– Входите, – довольно громко сказал я.

Вошла Елена Николаевна. Она была очень красиво одета, ее прическа доставляла ей, должно быть, много хлопот, потому что густые выющиеся волосы казачки непросто было собрать воедино. Но лицо спокойное, я бы даже сказал – решительное. Я так растерялся, что даже не пригласил ее присесть. Она сама спросила:

– Можно присесть?

Я извинился и поставил стул.

– Андрей Иванович, я скажу все коротко и ясно. Я вас заметила сразу, как вы пришли в детсад, отметила, как приятного мужчину. Потом эта неувязка с документами дочки, я узнаю, что это не ваша жена и не ваша дочь. Вы прожили здесь меньше полгода, значит, и с новой семьей столько же, основательно привыкнуть еще не успели. Мою историю вы, наверное, знаете, муж получил квартиру и меня с сыном брать отказался, у него там тоже семья. Итак, я свободная женщина, и вы не станете утверждать, что я не хороша собой. Мне только двадцать пять, сын не будет нам помехой, я рожу вам еще пятерых. Я очень люблю детей. У меня хороший дом, вы видели, есть автомобиль, несколько сберкнижек, короче говоря, в деньгах проблем нет. Я вам предлагаю: не уезжайте! Мы вышлем вашей не совсем законной жене много денег, достаточно, чтобы она не искала управы на вас. Андрей Иванович, соглашайтесь, я сделаю все, чтобы вы были счастливым мужчиной.

Она замолчала, вынула платок и приложила его к глазам, хотя слез я не заметил. Руки ее заметно дрожали. Я лихорадочно соображал, что мне сказать. Согласитесь, господа, сложнейшее положение. С одной стороны, обидеть нельзя, женщина говорит совершенно искренне. С другой – остается только соглашаться, хотя этот вариант я не рассматривал. Мне было ужасно неловко перед нею:

– Лена, простите меня, вы задаете неразрешимую задачу. Вы очень симпатичная женщина, я это сразу отметил, и даже жене сказал, что буду с удовольствием водить ребенка в садик. Ваши предложения заманчивы для свободного человека. Но я женат.

Она быстро перебила меня:

– Вы свободны, по закону вы свободны. Я знаю, вы расторгли тот брак, но не зарегистрировали этот. И если вы остаетесь, и у меня, и у нынешней вашей жены одинаковые права на вас. Извините, я говорю жестокие вещи, но я борюсь за свое счастье, за своего мужчину.

– Леночка, я искренне вам сочувствую и уверен, что вы недолго будете одиноки, мужчины таких женщин не пропускают.

– Но вы же пропускаете! Я боюсь быть навязчивой, но не может быть, чтобы я не нравилась вам, мы проживем несколько месяцев, и вы все забудете, уверяю вас, Андрей. Если хотите – уедем в Краснодар, в Москву – куда хотите. Я открою вам последнюю тайну: мой муж участвовал в частных раскопках древних курганов, однажды приехал сильно пьяный, выставил на стол пакет со слитками и драгоценными камнями, хвалился, что теперь все купить может. Я напоила его снотворным и спрятала пакет в подвале. Наутро он чуть с ума не сошел, но я твердила, что он перевалился через порог и уснул. Я уже тогда знала о его связях в городе и не очень стыдилась своего поступка. Андрей, это все будет ваше, ну что же вы медлите? Бросьте эту лачугу и пойдём ко мне, Андрюша, я умоляю вас.

Заметьте, это не была истерика, это было убеждение. Сказано в писании, что человек слаб, и у меня мелькнула мыслишка: а что, если...? Конечно, на мгновение, но такая мысль была, отрицать не стану.

– И чем все закончилось? – деловито спросил Владимир.

– Я решительно отказался, она извинилась, я проводил ее до дома. Примечательно, что она уже не приглашала войти и прочее, только поцеловала меня в щеку и сказала, чтобы я внимательно проверил газеты на столе. Когда вернулся, под газетой нашел пачку сотенных в банковской упаковке, это десять тысяч. Собрался было унести их обратно, но понял, что от чистого сердца, да и продолжать разговор не было сил. Деньги, кстати, очень пригодились.

Владимир поднялся, помешал угли в камине.

– Ну, лишними они никогда не были, даже при социализме. Зря ты не остался, Андрей. Это когда было? Тридцать лет назад. Ты все эти годы мотался по белому свету, не буду вдаваться в детали, но, похоже, развозил семена коммунизма. Со всходами получилось хреново, и тут готовый урожай упустил. Считаю, совершил большую ошибку.

Иван налил себе полный стакан водки и махом выпил:

– Ты не прав, Володя. Андрей проявил истинное благородство, да, господа, раньше было такое понятие. Вот что бы ты сделал, по крайней мере, сейчас: завалился бы к этой Елене, купил яхту и замок над заливом, пил и кутил, пока Елена не напоила бы снотворным и не выкинула за борт.

Геннадий, совсем не пьющий из-за желудка, деликатно поинтересовался:

– Извини, Андрюша, ты сейчас живешь с той женщиной, ради которой не поддался искусству?

– Теперь уже нет, так получилось.

– И что? Ни разу не приходило сожаление? Ну, хоть раз ударил в стол кулаком: «Твою мать, что же ты, Елена Ивановна, не настояла!».

– Елена Николаевна. Могу и соврать, но смысла не вижу: были такие моменты. Конечно, не о деньгах вспоминал, а о женщине сильной, страстной и любящей. Объяснить не могу, но сердцем чувствовал тогда, что она действительно любит и говорит от чистого сердца.

Григорий кое-как прожевал мясо:

– А денюжки, между прочим, взял. Совесть не мучила?

– Гриша, не копай глубже, там обида может быть. Деньги я потратил сразу на новом месте, дом и обстановку дали, машину пришлось купить, хотя была закрепленная. И часть отправил с надежным человеком первой семье, детям. Совесть не мучила, знал, что не последнее Елена отдала, но определенный дискомфорт был, временами чувствовал себя сволочно.

– Не понял! С надежным человеком! А телеграф? – поинтересовался Геннадий.

– Представь, в поселок приходит перевод на двадцать пять тысяч. Обязательное расследование, объяснения, опасность ограбления. А так все тихо и мирно. Правда, им тоже посоветовал переехать в другое место, что они и сделали.

Федор, профессор местного института и вообще очень начитанный человек, икнув, заметил:

– Любопытная история. Если бы ты тогда спросил моего совета, я бы рекомендовал остаться.

Да, некоторые издержки порядочности есть, но и жена твоя тогдашняя должна была понять простую вещь: как пришло, так и ушло. Она увела тебя от одной женщины, другая увела от нее. Что тут несправедливого? С точки зрения чистой науки борьба за выживание, естественный отбор. Конечно, тебе пришлось бы сменить профессию, расстаться с этими ребятами в темных пиджаках, которые в результате просрали всю страну, она тебе, эта профессия, тоже всенародного признания не принесла. А так сидел бы в тени грушевого дерева или в уютной беседке, думаю, инженер-строитель догадался соорудить такую, сидел и сочинял романы о счастливой жизни, когда есть бабки, крепкая казачка приходила бы и садилась на колени, вы пили изумительной чистоты вино и уходили делать очередного казачонка.

– Ты о чем, Андрей же не казак!

Геннадий поднял руку:

– Ты, Ваня, не знаешь обычаев тех мест. Если человек прибыл на постоянное жительство и он не казак, товарищи займутся его воспитанием, и после определенного срока торжественно посвятят в казаки.

– Ой, заливать! Откуда ты знаешь? Ты же кроме Германии со Швецией нигде не был, в Москве, и то проездом.

– Глупое замечание. Я читал в каком-то журнале.

– Хватит вам, если наш Гога купил себе титул князя, то о казачьем не стоит и говорить.

Владимир всех остановил:

– Стоп, ребята, мы ушли от темы. Вопрос состоит в том, правильно ли поступил Андрей, отказавшись от нелюбимой женщины даже при огромных деньгах?

– Поступил глупо. Оставил женщину неудовлетворенную, мог бы, в конце концов, предложить ей компромисс – навсегда не могу, но на пару дней останусь, – подытожил Григорий.

– Ты думаешь, она приняла бы такой вариант? – зло спросил Геннадий.

– Вах-вах, да с радостью. Тем более, в этой головке уже созрела бы мысль, что, вкусив от ее любви, мужик возьмется, наконец, за ум, а не за партийный билет, и останется, – не уступал Григорий.

– А мне сдается, что нет, не приняла бы, больше того, она плюнула бы Андрею в лицо. Такова логика женской гордости, – заметил ученый.

– Слушай, а что осталось от той гордости после шести месяцев жизни без мужчины? – словно сам себя спросил Григорий.

– Ты думаешь, у нее за это время не было мужчины? – улыбнулся Владимир.

– Я уверен, – воскликнул Иван. – Ты посмотри, какая женщина, гордая, самостоятельная, детей любит. Если бы приняла, то вот так, как Андрея, с любовью.

– Можно подумать, что наш Андрей был красавцем на весь курортный край. Неужели в той станице не было красивых мужчин?

Геннадий возмутился:

– Что ты понимаешь в мужской красоте! Ты и в женской-то не особенно разбираешься. Все, не спорь. Не твои ли слова: чем больше водки, тем красивее женщины. А тост твой знаменитый: «За подруг за наших верных, хоть не у каждого, но есть!».

Иван хорошо захмелел, и его потянуло на лирику:

– Очевидно, у женщин те же странности, как и у нас. Вроде бы ничего в ней нет, а тянет. Какая-то одна черточка, то улыбка, то взгляд, то жест какой-нибудь, голос, походка...

– Ваня, не трави душу.

– Все, я заткнулся.

– Андрей, а когда ты со второй женой расстался?

– Пять лет назад.

– А та, что привозил на праздник? Так, подружка? – улыбнулся Григорий.

– Пока да, там видно будет. Но я не сказал вам финала всей этой истории. Когда мы развелись со второй супругой, я взял путевку в Сочи и в аэропорту вдруг вспомнил о Елене. Дай, думаю, нагрюну в гости на правах старого знакомого. Взял машину, добрался до городка, нахожу улицу, дом. У калитки стоит старушка. Спрашиваю:

– Скажите, Елена Николаевна здесь живет?

– Здесь.

– Могу я ее увидеть?

– Можешь. Смотри.

Он замолчал и впервые резко встал с дивана. Все за столом остановились: Иван поднял бутылку над бокалом и замер; Владимир уронил на пол каминную клюку; Геннадий трезвым взглядом внимательно смотрел на Андрея; Григорий в предчувствии чуда перестал жевать окорок; Федор снисходительно ждал продолжения.

Андрей нервно прошелся по комнате, закурил сигару у камина:

– И только тут я понял, что это она. Ничего не осталось от той Лены, все пропито. Не простившись, я пошел к машине.

– Мужчина, а вы кто будете? – спросила она. Пришлось отвечать:

– Двадцать пять лет назад я знал Елену Николаевну, заведующую детским садом.

Она прищурившись смотрела на меня, конечно, не узнавая. И вдруг мне стало очень жаль эту женщину, ту, что когда-то была Еленой Николаевной, отважной красавицей.

– Елена Николаевна, я пришлю вам хорошего врача, вам помогут стать человеком, надо только ваше согласие.

– Ничего не хочу. У меня не получилась жизнь, вам этого не понять. У меня была счастливая жизнь, пока муж не изменил и не бросил. Потом я полюбила, но он от меня отказался. Я знала его фамилию, искала по всей стране, но мне отвечали, что такой не значит. Он просто скрывался от меня. Я понимала: он порядочный человек, он полюбил меня, сердце не обманешь, но он был связан с другой. Он боялся поддаться чувствам и скрылся от меня навсегда.

Андрей впервые за все время разговора налил бокал вина и выпил:

– В то время я был засекречен, конечно, никто ничего сообщить ей не мог. Сейчас не время в этом признаться, но мне порой кажется, что второй вот такой атаки с ее стороны я не выдержал бы. Она очень мне нравилась, несколько раз мы сидели в ее кабинете и якобы обсуждали проблемы воспитания дочери. Я видел ее и в служебном халате, и цветных платьях, какие любят тамошние женщины. Она просто прекрасна, такое сильное, красивое тело... А лицо! Должно быть, в ней намешано всех южных кровей. Она долго еще жила в моих глазах. Конечно, я понимал свою косвенную вину, ведь в том числе из-за меня она спилась.

Владимир жестом остановил его рассуждения:

– Выкинь из головы. Так получилось, но все остальное – ее проблемы. Если бы я после каждой неудачной попытки убедить женщину впадал в запой, пропал бы давно.

– Вина Андрея, безусловно, есть, – Иван встал с бокалом в руках. – Но он ни в чем не виноват. Леночка сама выбрала такой путь. Ты что-нибудь сделал для нее?

Явно смущенный Андрей кивнул:

– Пытался сделать. Из санатория я направил доктора с медсестрой, снабдил деньгами, адресом, смысл был в том, чтобы привезти ее в санаторий, где можно было бы организовать усиленное лечение. Врач позвонил мне через три дня, Лена умерла, остановилось сердце.

На похороны я опоздал, положил на могилу цветы, постоял перед портретом, на котором она была еще молода и красива. Признаюсь, я плакал.

Кампания молчала. Вошедший повар доложил, что чай готов.

2011 год

ФОТО С ВЫСТАВКИ

Накануне шестидесятилетнего юбилея известного в области фотожурналиста Ивана Ивановича Шестакова, департамент культуры, где он был своим человеком, предложил организовать выставку его работ, причем, молодая дама, искусствовед картинной галереи, которой, видимо, было это дело поручено, начала с того, что попросила мастера вернуться в молодость, найти старые снимки, и показать сегодняшней избалованной публике жизнь черно-белую, давно минувшую.

– Поверьте, – ворковала она, – покосившийся забор, избушка на отшибе, старушка в платочке – это так мило, народ будет в восторге. У вас же есть архив?

Конечно, архив у Ивана Ивановича, как у всех уважающих себя ремесленников, был, и рулоны пленок со времен работы в районной газете, были уложены, пронумерованы и описаны, хотя весьма приблизительно. Идея этой дамы, не то Инессы, не то Анжелы, сама по себе интересна, Шестаков и сам изредка залазил в кладовку, брал первую попавшуюся коробку и, разматывая рулон пленки, уходил в ту жизнь. Вот это он снимал доярок на летних выпасах у Яровского озера. Молодые, красивые, ядреные девки. А это опять доярки, только из Сладковского района, он вспомнил, что после съемок на ферме одна отвела его в сторону:

– Я на фотокарточках хорошо получаюсь, так что ругать не будешь. А ночевать ко мне пойдешь, я женщина свободная и чистая. К тому же у меня банька подтоплена.

И баньку помнил Шестаков, и женщину эту, мягкую и ласковую.

Прокрутив на примитивном аппарате несколько пленок, Шестаков складывал рулоны и запечатывал прошлое в коробку. Теперь ему предстояло просмотреть все, отобрать самые интересные кадры и распечатать для комплектования экспозиции. Полная свобода в выборе темы или даже тем, предоставленная Инессой или Анжелой, не смущала Шестакова, он сразу сказал себе, что это будут портреты. Вспомнилась худенькая учительница из Тобольска, к которой ездил каждую неделю почти год подряд и всегда снимал. Молодые и счастливые, они играли в съемки, как настоящие модели, несколько пленок Шестаков аккуратно разрезал, сжег все, где он был снят, в чем мама родила, а ее даже никогда не распечатывал, хотя пару раз любовался в кладовке. Можно было бы выбрать исключительный портретик, помнился один кадр, когда она, умиротворенная, села в постели и даже не прикрыла своей наготы. У нее были девичьи остренькие груди, длинные волосы и лицо, освещенное мягким светом торшера, с улыбкой усталости и гордости.

Шестаков оживился: у него же много женских портретов, на одной пленке и снимок на производстве, и вечерние портреты в домашней обстановке. Он даже удивился, сколько случаев вспомнил сразу, а если подумать... Впрочем, не фото-отчет о любовных похождениях должен он подготовить, а выставку, и тут не всякая история пригодится. Он съездил к ребятам в фотосалон и привез китайскую машинку для просмотра пленки с большим экраном да еще набор для ретуши, из которого ему могли потребоваться только тюбики темных тонов. Вечером достал несколько коробок, отобрал два десятка рулонов и включил аппарат. Перед ним в медленном параде стали проплывать люди, которых он уже давно забыл, лица интересные и не очень, некоторые что-то напоминали, но это было так давно, тридцать лет назад.

Тогда по указанию парторгов он снимал токарей и слесарей на заводах, доярок и трактористов в деревне, хотя иногда прорывалась интеллигенция, руководящий слой. Шестаков сильно обрадовался, поймав на пленке с партийной конференции интересный кадр с первым секретарем

обкома. Тот в перерыве, видимо, спорил с кем-то, круто повернулся к фотографу, а тот уже нажал кнопку. Полуоткрытый рот со все еще вырывающимся звуком, тяжело сжатый кулак, суровый взгляд из под лохматых бровей – будто на митинге в защиту советской власти, хотя такого митинга не было.

На пленке с конференции по проблемам добычи нефти и газа с удивлением увидел лица отцов-основателей, тогда малоизвестных романтиков, потом генералов и даже министров. Для газеты пригодился лишь один групповой снимок, а тут столько портретов, сделанных в зале заседаний, в кулуарных разговорах и даже в буфете. Шестаков оживился: с каждой пленки он отбирал, по крайней мере, один кадр, заполнялась коробка с нужными пленками.

На третий день, разбирая самые ранние архивы и не ожидая ничего интересного, он едва не пропустил мелькнувшее на экране лицо, даже пропустил и уже смотрел следующие, когда бдительная память заставила остановиться. Что-то до боли знакомое, приятное и раздражающее, увидел он в этом кадре. Осторожно вернул его на место и задохнулся. С того самого дня, когда он вернулся из армии и с ожесточением сжег все ее фотографии, а потом случайно увидел кусок пленки с ее изображением и тоже хотел бросить в печку, но одумался, завернул в бумагу и положил в общую коробку, он не вскрывал этой пленки и не видел это лицо.

Нина Соколова приехала из далекого городка Буя после техникума, бухгалтером в совхоз. Ваня был первым парнем на деревне, окончил среднюю школу, служил совхозным комсоргом. Они встретились в первый же день, Ваня бросил всех своих подруг и весь упал к ногам Нины. Да и было к чему упасть. Высокая, плотная, лицо чистое и улыбочивое, ноги крепкие и длинные, настолько крепкие, что еще чуть – и нет красоты, а так – с ума можно сойти, глядя, как она идет, как стоит, как садится. Ваня долго не мог понять, в чем же тайна, оказалось, коленушко у нее такое аккуратное, что не высовывается, не выпирает, а словно нет его совсем. По этим ножкам все парни вздыхали, но Ваня успел, сходил к директору и выхлопотал для Нины однокомнатную квартиру в двухэтажном доме времен Хрущевских агрогородков. Кровать, матрас с одеялом, два комплекта постельного белья, стол, стулья и даже электроплиту со склада завез. За выходные они с Ниной уборку сделали, все расставили по местам, уютная получилась квартирочка...

Шестаков встал из-за стола, открыл холодильник, налил полный стакан водки. Давно не пил, сдерживался, потому что одним стаканом никогда не обходилось, а тут никакого сомнения, единым духом проглотил ледяную жидкость и сел на табурет. Парень он был не из робких, с девчонками сходил быстро и так же скоро отпускал на свободу, оставляя после себя дурную славу подлеца и обманщика. И с Ниной все выходило славненько, ребята откровенно завидовали ему и издевательски хвалили ее коленки: «Иван, она у тебя вся в ноги выросла». А Ваню как подменили, Нина в клубных играх и просто на людях с улыбкой его встречала, ни на шаг не отходила, хотя больше молчала, говорила только при необходимости. Ваню это смущало:

- Ты почему такая? Молчишь и улыбаешься, улыбаешься и молчишь.
- Тебе разве этого мало? Я же тебе улыбаюсь.
- Так можно подумать, что кому-то за спиной.

Она подходила к нему и прижималась всем телом, охватив шею руками так крепко, что грудки сжимались.

- Нина, я тебя люблю, сильно люблю.
- Это и хорошо, – спокойно говорила Нина. – Ведь я тебя тоже люблю.
- Мне же еще в армию идти, на три года.
- Ну и что? Придешь – мне двадцать, тебе двадцать два, самое время свадьбу играть.

Шестаков еще раз посмотрел на снимок, и сладкая теплота разлилась по телу. Это было в то воскресенье, когда она окончательно вселилась в квартирочку. Купили бутылку вина и какие-то консервы, огурцы и помидоры Иван принес из дома, был уже конец августа. Пока он резал салат, Нина принялась открывать консервы, нож сорвался и порезал палец. Нина показала, где лежит бинт и картинно подставила палец под перевязку. Выпили за новоселье, и Иван взял фотоаппарат. Нина облокотилась на стол, подперла щечку перевязанным пальцем и с улыбкой смотрела в объектив. На ней была легкая кофточка в мелкую клетку с отложным воротничком, которую она надела после уборки. Иван чуть присел, нажал кнопку и покачнулся. Повторять съемку Нина отказалась, хотя Ваня предупредил: кадр не получится, всю прическу срежет. Нина улыбнулась:

- Вот я вся с прической, любуйся. А фотографий мы еще тысячу снимем.

С тысячей не получилось, началась уборка, комсорг Ваня только поздно ночью забегал в заветную квартирочку, Нина ждала его, они жадно целовались, но, когда добирались до кровати. Нина с улыбкой упиралась руками в его грудь:

– Успокойся. Наслышана я, что ты привык к быстрым победам над девчонками. Не спорь, я не ревную. Просто хочу, чтобы у нас было по-другому.

– По-другому – это как? – смеялся Иван.

– Ты отслужишь, придешь, к тому времени тебя уж парторгом изберут, так что квартиру новую получим, нет, лучше дом построим. И я рожу тебе много ребятешек, имей в виду, наша порода плодovitая.

Когда парню приходила повестка в армию, вся жизнь кувырком. Давали неделю на подготовку, дома собирали стол. Иван уговорил Нину сходить к нему домой, познакомиться с родителями.

– Ваня, как-то неловко. С какой стати явилась?

– Но на проводины все равно придешь.

– Так там и другие девчонки будут.

– Нина, прошу тебя, пойдем, я родителям уже все рассказал про наши планы.

Пришли, отец смущенно поздравствовался, мама приобняла девчонку:

– До этого ни одной не водил, стало быть, сурьезно, а, рекрут?

Нина за стол садиться отказалась, поговорили о проводах, на том и простились.

Иван после вспоминал, что Нина стала вести себя с ним аккуратней, объятия и поцелуи стали прерываться в самый неподходящий момент, Нина смущалась, и на его недоумения отвечала робко, что так может далеко зайти.

Вечером на проводинах посидели недолго, молодежь потянулась в клуб, Иван и Нина ушли в квартиру. Он как сейчас помнит: они сели напротив друг друга, Ваня гладил ее колени, приподнимая короткую юбку, она целовала его шею и уши, отчего он повизгивал, как щенок.

– Нина, разбери кровать, я, правда, наматался сегодня.

Она сняла с него рубашку, сдернула с ног туфли.

– Все, ложись.

– А ты?

Она вышла на кухню и вернулась в халатике.

– Я к стенке лягу. А ты стульчик подставь, чтоб не упасть.

Они впервые были столь близки, робко трогали друг друга, целовали такие места, до которых никогда раньше не добирались. Ваня чувствовал, что под халатиком ничего больше нет, рука скользнула между пуговичек, и тугое девичье тело встрепенулось от неожиданности.

– Ванюша, ты правда меня любишь?

– Нина, ну, ты же видишь. Нина, милая... – Он коснулся замка своих брюк, но она перехватила руку.

– Ванюша, любимый, не надо. Я буду тебя ждать. Я очень буду скучать по тебе и ждать.

Полежи, успокойся, скоро светать начнет, а в шесть машина в военкомат.

Шестаков помнит, что сразу уснул и очнулся только от поцелуя:

– Ванюша, пора.

Он вскочил. Нина неловко лежала.

– Ты не будешь вставать?

– Ваня, я не могу, ты спал на моем плече.

Иван встал перед кроватью на колени и стал осторожно разминать плечо, руку, без стеснения касаясь истока груди, Нина со слезами на глазах смотрела ему в лицо.

– Ванюша, я тебя никогда не забуду.

– Ладно, клятвы закончились, я побежал собираться, а ты подходи к машине.

– Нет, я буду в сторонке, не хочу разговоров.

Из кузова грузовика, занаряженного отвезти в военкомат пятерых призывников, Иван не видел никого, кроме Нины. Она улыбалась ему и легонько махала рукой.

В тот же вечер на Ишимский сборный пункт подали военный эшелон, идущий с востока. Сотню парней построили перед составом и дали команду размещаться. Уже через полчаса на столиках горой лежала домашняя еда и ножики соскабливали водочные пробки. Иван лежал на верхней полке, вагон раскачивало, и он проваливался в сон, выныривая после громких выкриков подвыпивших ребят на нижних полках.

– А последний раз мне здорово повезло. Еду я на отцовском мотоцикле от тетки, смотрю, девица идет. Я остановился, приглашаю, она ни в какую. Глушу мотор. А девка – красавица, и тут и там – все при ней. Ноги, ребята, доложу я вам, как точеные. Присели, разговоры, идет с отделения в совхоз, бухгалтером там работает. Я посмейся, за талию, пониже – ничего, ну, тогда и понеслась.

– Врешь ты все.

– Да мне шибко надо! Нинкой ее зовут. Я хотел в гости завалиться, да мне подсказали ребята, что ее фраер в начальниках ходит, лучше не связываться.

Иван плохо помнил, что было дальше. Потом рассказали ребята, что спрыгнул с полки спокойно, без приглашения налил стакан водки, выпил, губы вытер и спросил:

– Говоришь, Ниной ее звали? А фамилию ты не спрашивал, точно, кто в таких случаях интересуется фамилией? А в какую деревню она ходила, не вспомнишь? В Травную? Когда это было? В августе? Так вот, я тот фраер и есть.

Говорили, что два раза успел ударить, челюсть сломал и скулу своротил. Того в Свердловске сняли в госпиталь, а Ваню начальник эшелона вызвал, допросил и посадил в отдельное купе как штрафника. Так до самого Арзамаса и ехал.

Писем Нине не писал, ее конверты не вскрывая, сжигал в мусорной урне, страшно страдал, пока на репетиции новогоднего представления не познакомился с девочкой Соней, которая оказалась дочерью начальника штаба, ученицей девятого класса. После первого же поцелуя подполковник вызвал в штаб и, поглаживая пистолет на столе, сказал спокойно, что дочка ему поведала о своей первой любви, но если солдат попытается переступить черту, он его застрелит. Просто и доходчиво. Так и целовались с Соней, пока она не уехала в Москву в университет.

Шестаков положил пленку в карман и утром пошел в салон. Долго за компьютером чистил снимок, снимая лишнее и оставляя признаки времени. Закончил поздно вечером, единственный оставшийся в ателье оператор отпечатал снимок третьего формата.

После открытия выставки Инесса–Анжела вбежала в кабинет директора, где мнительный Шестаков мучительно ждал первой реакции посетителей.

– Иван Иванович, вы, безусловно, великолепный мастер, но в фотографии «Моя любовь с большим пальчиком» откуда этот набор изобразительных средств: красота натуры, простота обстановки, этот пальчик забинтованный, боковой и верхний свет. А чувства: она, безусловно, любит того, кто ее снимает, она чиста, свежа, прекрасна. Пойдите в зал, мастер, вся публика возле этой работы. Может, вы сможете ответить на вопросы?

– Простите, Инесса...

– Анжела.

– Конечно, Анжела. На старости лет начинаешь понимать, что настоящая фотография не может быть постановкой, она естественна, она есть жизнь. Вы напрасно говорили о наборе средств, их нет. Снимок сделан влюбленным мальчиком простым аппаратом «ФЭД», они теперь только в музеях. Но была любовь. Больше ничего, так и скажите публике.

2012 год

Николай ОЛЬКОВ

АННА
Рассказ

Анну сегодня вымыли и положили в кровать, заправленную выстиранной печной занавеской и одеялом под другой тряпицей, которую она признать не могла, то ли с горничных дверей, то ли с полатей. Ольга еще в прошлую субботу сказала, что все постельное кончилось, истерли в стиралке, покрути-ка через день. Посыкнулась принести свое, только Анна тяжело махнула рукой: «Не надо!». Ольга хоть и родная племянница, только не разорваться бабенке, и работа, и ребятишки, и мужик пристрастился бражку ставить, всегда навеселе, а управа во дворе на ум не идет. Анна уже не горевала даже, что своих детей не родила, война оженила, видно, ее суженого, подходили ребята с фронтов, только не к ней. Сама себе признавалась, что не красавица, а то, что работающая – это в девке оценили бы потом, при семейной жизни.

Когда боли утихали, уходили куда-то, Анна вспоминала первое послевоенное лето, когда тихая, почти траурная деревня вздрогнула от множества мужских голосов, от разухабистой «тальянки», выводящей почти забытую «Подгорную», от радостных

частушек молодых девок и вдов, на кого положил глаз демобилизованный холостяк. Анна сидела с подружкой на бревнышках, только та время от времени срывалась на круг, потому что перед ней топтался уставший от браги и пляски парень, приглашая к пляске. Пройтись вприсядку или иное коленце выкинуть он уже не мог.

Памятное было лето. Вернулся из Германии Федя Фаркоп. Она как сейчас его помнит: усатый, вся грудь в медалях, сапоги хромовые тоскующей гармошкой сморщены. И наглый. После вечеров догнал ее, подхватил под руку:

– АнЮшка, ты почто одна-то? Одной, поди, страшно. Давай, я тебя обниму.

Прижал к себе, а она и сердце поймать не может. Двадцать два годика, а не обнята, не целована. То не в счет, что ребятишек пятнадцатилетних совращали, тискали, к себе прижимали, до дури доходили, а потом гнали их, чтобы, не дай бог, до сладкого греха не упасть. А тут мужик, груди мнет, с ума сводит, шепчет, аскид, на ушко:

– Пошли, Анюшка, в баню, нынче суббота. Бани теплые.

Что там говорить – жаркая была баня... Федор сел на лавку, дрожащими руками поднес спичку к папиросе. Анна встала:

– Выдь на минутку, я обмоюсь.

Шли молча до Анниного переулка, тут Федор остановился:

– На деревне про баню не надо разговоров.

– Вот как!? А зачем ты на кофтенке все пуговички обобрал, щупался, в ухо пел? Заскочил, как петух, и обратно на седало? Ох, дура я дура, неотесанная! Был бы жив тятка, он бы тебя оженил.

– Анюшка, ты чо на меня? Я тебе ничего не обещал, но, если в замуж не возьмут, буду приходить. Мать-то жива?

– Слава богу!

– Неловко при матери-то...

– Она на печке спит, да и глухая совсем, – соврала Анна и заплакала: обрекла себя в ту минуту на вечное одиночество.

* * *

Слух прошел, что с понедельника все на сенокос. Неделю шли дожди, да неделю солнце за день ни на минутку не пряталось, все старалось виновато подтянуть травы, сотворить семена в каждой, чтобы, осыпавшись, они ожили будущей весной. Травы дуром дурят, старики говорят, что в Дикише и на Зыбунах такого давно не бывало, чтобы пешему не пройти. Вечером по всей деревне стук молоточков: отбивают, оттягивают жало литовок, чтобы на покосе только легонько брусочком пройти с обеих сторон, и опять коси. Литовкой бриться можно, рукавом от старой фуфайки одевают литовку, бечевкой перевязывают, чтобы не порезать кого и чтобы ненароком не притупилась в дороге. Мужние жены без горя, хозяин и литовочку подберет, и посадит на литовище, чтобы по руке и по росту. Анна пошла к крестному Максиму Хромому, он уж своей Марье наладил, вон, в углу стоит. Максим встретил с улыбкой, принял литовку, покрутил-повертел, выматерился:

– А Фаркоп-то выболел бы, если бы отбил да насадил, как следно быть? Ладно, не красней, дошли и до меня слухи. Жениться не звал?

– Нет.

– Если бы в старые годы – на куртал бы его сводили братья с отцом, вставили ума чуток. А нынче – Гитлер твоего жениха устосал, без соборованья, а Сталин разрешил мужикам ходить по бабам, солдатиков да доярочек ему делать, а помощи никакой, – ворчал Максим, разобрав Аннину литовку по частям.

– Я тебе черенок новый поставлю, этот подопрел, подведет среди дня. У меня на номер меньше есть литовка, с этой тебе к обеду воздуха не станет хватать.

Анна перебила:

– Не надо, крестный, маленькой мне норму не вытянуть.

– А сколько дали?

– Сказывают, по пятьдесят соток.

Максим выругался:

– В правленье совсем сшалели, или как? Да по такой траве полгектара только трактором. Посмотрю завтра, ихние бабы придут или в холодке отсилятся, а то, не пуще того, в председательской кошевке в лес по ягоды махнут. Смотрел я вчера по Пелевинской дороге – густо ягод, хоть лопатой сгребай. Хотел съездить между делком, да Вася Моряк утром кнутовищем с вершны в окошко стукнул: «Весь день литовки и грабли налаживать, а завтра с молоточком и наковаленкой быть у Коровьей Падьи, оттуда, стало быть, начнете».

Максим говорил и делал свою работу. На черенке выдолбил долотцом углубление, чтобы замок литовки закрепить, надел кольцо туго-натуго, из свежей вицы согнул новую ручку, стянул ее тонким кожаным ремешком. Спросил, есть ли оселок, порылся в ящичке, достал мелкий оселок. Анна взяла в руки литовку, отошла в сторонку, сделала несколько замахов – удобно, ловко.

– Спасибо, крестный.

– Айда, благословясь!

* * *

Пастухам было велено выгонять коров пораньше, они чуть свет – уже щелкали длинными кнутами своими, пугая собак и маленьких телятишек. Вся деревня на ногах, с литовками на плечах сходятся ко дворам возчиков, а те уже запрягли в телеги и фургоны лошадей, поправляют сбрую. Филя Смоктунок прилюдно начал мазать дегтем колесные ступицы, мужики с матерками помогали, поднимая телегу. Филя молча сносил обиды, потому что виноват, вчера прогулял, уж лучше здесь снести позор, чем среди дороги, когда безжалостно засвистят ступицы, и матерков будет еще больше. Подбегали запыхавшиеся молодухи, проспавшие зорьку и догонявшие со своими коровами уходящий в луга табун. Наконец, тронулись, и к выезду за околицу уже целый обоз выстроился, все собрались, Вася Моряк, только что вернувшийся со службы на Тихоокеанском флоте, проехал вдоль колонны, всех пересчитал и рысью поспешил подобрать место для стана.

Все собрались в круг, Анна огляделась: не меньше сотни человек. Бригадир вскочил на ближайшую телегу и крикнул:

– Товарищи! Сегодня у нас праздник – начало сенокоса.

В толпе громко засмеялись:

– Праздник!

– Семь потов за него!

– Бригадир, ты лучше про норму скажи!

Вася Моряк чуть стушевался, но быстро нашелся:

– Да, праздник, потому что от сегодняшнего дня зависит, будет ли скот с кормами, не придется ли поднимать коров весной на веревках, как в былые годы. А норма такая: пятьдесят соток для женщин и шестьдесят для мужиков. Сразу: кто перевыполнит хоть на пять соток, ставлю два трудодня.

«Ой, да хоть десять, все равно по осени на них ничего не выпадет, только бы должной не остаться», – подумала Анна и подошла к таким же одиночкам, как и сама, им вместе сподручней.

Катя Заварухина самая крепкая, пошла передом, за ней Валентина Ляжина, Прасковья Апрошина, и Анна встала вслед. Первую ручку шли долго, все

приспособивались, надо одинаковый шаг установить, чтобы пятки друг дружке не порезать, не отставать, но и не забегать вперед. Тогда и дыханье установится, и сердце перестанет выскакивать.

Бригадир подъехал на своем Хулигане без седла, рубаха вся мокрая, чуб из-под бескозырки сосулькой висит. Женщины смеются:

– Тебя, Иваныч, не поварила ли холодной водой окатила, чтобы не яровал?

– Нет, родные мои, я с мужиками в одном строю, литовка у меня – девятый номер. Не мог же я опозорить Краснознаменный Тихоокеанский флот, намахался так, что сейчас только супу чашку и в Тихий Омут нырнуть. Тут не заяруешь!

– Смотри, не уплыви, а то и трудодни начислять некому будет, – смеются женщины.

Анна улыбнулась этим воспоминаниям. Действительно, какая артельная это работа – сенокос, здесь каждого видно, ни за кого не спрячешься, но за слабинку, за ошибку никто не осудит, не поднимет на смех.

Потом из больших эмалированных чашек (одна на пятерых) хлебали густой суп с бараниной, баранчика специально для косарей выписало правление колхоза. И хлеб напекла Аксинья Петровна – любо поглядеть. Калачи большие, высокие, мягкие, наломали их ломтями и кинули прямо на середину артельного стола – ешь, сколь хочешь.

В тот день они выполнили норму, хотя трава тяжелая, овсяница колос затвердила, визиль вяжется на литовку. Но сено хорошее будет, если без дождей сумеют сметать.

* * *

Лошадей Анна не любила, не то, чтобы боялась, а сторонилась и дивилась своим подружкам, которые получили по паре коней и по фургону, летом возили зерно на элеватор, лес, кирпичи на стройку, а как снег падет – одна работа: пара саней с широкими крыльями, и за сеном. Опять надо парой, одна со стога подает, другая на санях раскладывает, чтобы три центнера вошло и чтобы воз не развалился. Сложили воз, бастрыком его зажали, и так все четыре. К вечеру, если все нормально, дотянутся до сеновала, перекидают сено в большую скирду, тогда можно коней распрягать и домой.

Уговорили Анну, взяла она пару смиренных кобыл, закрепили ее за молоканкой обрат телятам возить и сливки в соседнее село на маслозавод.

Анна хорошо помнит тот день, все шло наперекосяк. Сначала Пегуха никак не хотела заходить под упряжь, потом на хомуте порвалась супонь, а на выезде с конного двора фургон зацепился колесом за воротину и своротил ее. Анна понужнула коней, чтобы скрыться, пока никто не видел ее греха.

На молоканке поставила шесть фляг со сливками и тронулась через мосток в сторону Шадринки, где сдавала опломбированные фляги на маслозавод. Ее там знали, угощали хлебом с маслом, холодной закваской. Она уже представляла, как сдаст фляги, будет пить чай с белым хлебом, накрытым толстым куском холодного масла. Вдруг кони дернулись, встали на дыбы и метнулись в сторону. Анна видела, что через дорогу перемахнул огромный лось, уперлась ногами в поперечину и со всей силой натянула вожжи. Но кони дико неслись прямо по кустам, потом фургон попал в яму, опрокинулся, и Анна потеряла сознание.

Ее нашли к вечеру, увезли в больницу, с неделю ставили уколы, но голова болела. Врач сказал, что это пройдет со временем, и выписал на работу. Дома ее уже ждали. Колхоз предъявил иск за два с лишним центнера испорченных сливок. Бухгалтер так и сказал: либо возмещай убыток, либо колхоз подает в суд. А чем возмещать? Корову продать, и то не хватит, а без коровы совсем погибель. Нашлись люди, ходили в

правленье, просили списать за счет колхоза, только председатель и слушать не стал. Анне так и сказали:

– Он с производства направлен колхоз поднимать, ему наше горе непонятное.

Суд хотели провести в колхозе, только убоялись, что народ может под защиту взять подсудимую, Анну вызвали в район. Сидела она на боковой скамеечке, какие-то люди – ни единого знакомого лица. Она помнит, как ее это испугало: засудят, и заступиться некому. Какой-то человек подошел, шепнул тихонько:

– Приготовься, на полтора года поедешь в леспромхоз северный. Мне судья сказал.

Потом этот человек, которого объявили адвокатом, долго говорит про особую ценность социалистической и колхозной собственности, к которой некоторые граждане (он указал на Анну) относятся преступно халатно и заслуживают сурового наказания. Говорил еще один, в мундире, все грозил каким-то капиталистам, и тоже про народное добро, на которое посягнула подсудимая.

– Прошу суд, учитывая серьезность преступления и в назидание другим разгильдяям назначить подсудимой...

Анну не отпустили домой, две ночи ночевала в милиции, потом увезли на станцию и посадили в вагон, полный женщин. Никогда не бывавшая дальше своей деревни, Анна приткнулась с краешка нар, положив на колени узелок с парой исподнего. Она до сих пор помнит невысокую толстую женщину с воспаленными глазами, которая подошла, вырвала узелок, спросила:

– Что тут у тебя?

– Рейтузы да рубаха, еще рукотерт.

Женщина брезгливо сунула узел обратно. Подошла еще одна, постарше, Анне сразу показалось, что с добрым лицом.

– Ты из деревни? Я так и поняла. За что тебя?

– Лошади понесли, фургон перевернулся, а там фляги со сливками...

– Перебирайся ко мне ближе, нас тут от самой Москвы. А ту зэчку мы приструним. Это нарушение – собрали вместе уголовников и первосудок.

– Ты, видать, грамотная?

– Немножко. Я инженер, работала в лаборатории, ночью пожар, а я последняя уходила. Обвинили. Потом мне сказали, что электрокабель замкнул, но я уже осуждена.

Разгрузились на запасных путях большой станции ночью, колонной прошли через весь город, по шаткому трапу поднялись на баржу. Утром маленький пароход потащил баржу на север.

* * *

Анна вернулась через два года. Мать едва дождалась, добрые люди помогли и сеном для коровы, и дровами. А в огородишке сама управлялась. Прибежали подружки-одиночки, выпили по стакану бражки за встречу, новости рассказали. Председатель колхоза теперь Гриша Антонов, долго служил на Востоке, а потом в заготконтору устроился. Сказывают, вызвали его в райком и сказали, что не к лицу фронтовику и коммунисту груздями да шкурками заниматься, надо ехать в родное село и поднимать колхоз.

– Анна, теперь у нас пимокатня своя, овечек развели каких-то лохматых.

– Саженцев привез Григорий Андреич, всю деревню вывел за старую мельницу-ветрянку, сад теперь у нас, говорят, на будущий год яблоки будут.

– Телятник новый достраивают, ты бы шла, просилась телятницей. Хоть в тепле.

Анна вздохнула:

– Намерзлась я, подружки, на всю жизнь.

Еще одну новость вспомнили:

– Федька Фаркоп утонул на Аркановом озере под пьяную лавочку.

Анна кивнула, мол, знаю, мама сказала.

Утром пошла к бригадиру животноводства, пока он в правлении находился, а среди дня где его сыщешь? Смотрит: вроде знакомый, из соседней деревни, колхозы-то объединили. Красивый мужчина, лет больше сорока, в галифе и хромовых сапогах, волосы назад зачесаны и чистые, аж пушатся. Узнала, как зовут, подошла:

– Степан Федорович, работу пришла просить.

Батурин посмотрел внимательно:

– А ты откуда взялась? Ни разу тебя не видел.

Анна опустила голову:

– Из заключения я. Вчера пришла.

– За что?

– За сливки.

Бригадир кивнул:

– Слышал про эту дурь. В иных местах тыщами теряем, а человека за рубль на каторгу шлем. Что можешь работать?

– Да все! – смело ответила Анна. – Мне сказали, что скоро телятницы нужны будут.

– Уже сегодня нужны, – ответил бригадир. – Только ты имей в виду, за телятами, как за малыми детьми, надо ухаживать.

Анна покраснела:

– Детей у меня нет, но телятишек люблю, со своими, бывало, разговариваю, а они прислушиваются, вроде понимают что.

– Вот и славно, завтра приходи на ферму, я подъеду.

В новом телятнике Анна набрала группу новорожденных, только неделю жили они с матерью в родилке, а потом она на руках, завернув в старое одеяло, переносила их в клетки, давала бутылку с соской, а если не принимал – поила с пальца, как дома. Она звала их ребятишками, каждому давала имя, понимая, что уйдут в среднюю группу – никто их там ласково называть не будет.

...Анна улыбнулась, и будто запах молочного тельенка вдруг напахнул, будто он, ласковый, нежно лизнул ее в щеку шершавым своим языком, как не раз бывало.

А до того она неделю наводила в телятнике свой порядок. Глиной с рубленой соломой промазала все пазы, побелила стены и клетки, у дверей сколотила ящик, засыпала опилом и попросила веттехника, чтобы привез ей бутылку той жидкости, которая все микробы убивает. На дощечке углем написала «Вход воспрещен!» и приколотила ее к дверям. Степан Федорович пришел посмотреть готовность, для приличия почистил подошвы сапог во влажных опилках, все осмотрел и довольно улыбнулся:

– Молодец, Анна, вижу: добрая из тебя телятница выйдет. Все, завтра новорожденные уже к тебе пойдут.

– Степан Федорович, скажите дояркам, чтобы они мне молоко сдаивали от крепких коров.

– Это ты сама решай. А тут что за веники?

– Из дома травы принесла, у меня их полно всяких, от всех болезней.

– Смотри, не перепутай, а ветврачи – народ капризный, случится падеж – припишут.

Анна улыбнулась:

– У меня не случится.

– Да вот и кстати разговор. Сохранишь весь молодняк – с каждой полсотни один

твой, натуральная оплата. Ну, удачи тебе в работе.

Анна проводила гостя за дверь, обернулась, а на дощечке исправлена одна буква. Конечно, это он, а ведь ничего не сказал. Анна и сейчас помнит, как екнуло сердце и вспыхнуло давно не горевшее лицо. Остановилась: «Ой, чтой-то со мной?»...

* * *

Ольга накормила Анну, прибрала в избе и в горнице. Горенку-то пристроил еще Федя Фаркоп, хоть и наглый, а матери стеснялся. Выписал в колхозе лес, срубил троестен, позвал мужиков, и артелью приткнули сруб к избе, закрепили скобами, под окладник чурок набили, крышу общую навели. Это уж позже Анна купила шифер, сбросали дернины, сросшиися потником, домик стал поприличней.

– Ладно, тетка Анна, лежи, я побежала, своей управы полно. Мой-то опять в загул ушел.

– Ты не ругай его, а поласковой, подлизнись, ему стыдно станет.

– Ой, тетка Анна, ему хоть кол на голове теши, неделю спит на диване, думала, может, среди ночи подсунется – куда там! Водка дороже бабы. Да, подобно тому, ему и баба-то не нужна.

– Только не ругайся, этим разозлишь, еще тошней станет. Оля, подай мне коробочку из комода.

– Которую?

– Ну, ты же знашь...

Коробочку открыла, когда ушла Ольга. Вывалила все на одеяло. Взяла первый значок: медаль. Эту дали перед уходом на пенсию. А эта первая, тогда многих женщин наградили. Прасковье Апрошиной дали отрез крепдешина на платье, а Наташке Цыганке часы наручные. Анна улыбнулась, вспомнила, как материлась Наташка: «На кой мне часы, я цифры не знаю. Лучше бы отрезали на платье». А вот это тяжелое, большой орден, Степан Федорович сказал, что надо еще одну пятилетку так поработать, и можно к Герою представлять. Не получилось с Героем, председатель колхоза чем-то району не угодил, сняли, привезли какого-то очкарика с портфелем. А как народ жалел Гришу Антонова! Колхоз миллион прибыли получил, Григорий Антонович умолял на отчетном собрании не делить прибыль, а лучше провести по деревне водопровод и электричество. Цельное лето рыли траншеи под трубы, каждому отвели по тридцать метров, а глубина два с лишним. И рыли, больше экскаватора сделали. Потом колонки поставили на перекрестках, над ними избушки для обогрева, старых пенсионеров посадили на раздачу воды. Так же и под столбы ямы копали, потом чистили сосновые бревна, устанавливали и трамбовали грунт. Построили кирпичную электростанцию, немецкий дизель привезли. Приехала бригада из Казахстана, натянули провода, потом к каждому дому и по дому проводку. В полночь дежурный машинист три раза выключит свет, значит, через пять минут заглушит дизель. Чем не жизнь?

При очкарике колхоз перевели в совхоз, и сразу все переменялось. Собраний не стало, директор все решал приказом. С передовиков скатились, и награждать перестали. Вот еще кучка значков, каждый год давали «Победителю соцсоревнования».

* * *

Степан Федорович потом много раз рассказывал ей, что сразу заметил работающую женщину, громкоголосую, но безвредную, она не жаловалась никогда, а прямо высказывала все претензии телятницы к руководству, Степан Федорович старался поправить дела, чтобы в следующий раз вопросов было меньше. Он и сам не заметил, что зачастил в телятник, заботиться о подрастающем молодняке входило в его

обязанности как заместителя председателя колхоза по животноводству, но люди-то видели, что не все так просто.

Тогда же устроили на ферме встречу Нового года, «Голубой огонек» назвали, посидели за столом в красном уголке, выпили, песен попели, даже потанцевали под гармошку, скотник Пантелей Шубин съездил домой, привез хромку. Расходились уже под утро, да так вышло, что мимо дома Степан утянулся вслед за Анной, догнал ее в калитке, придержал за рукав:

- Что же ты от меня бежишь, Анна, брезгуешь моими годами?
- Разговоров боюсь, Степан Федорович, жена у тебя и работа ответственная.
- В избу-то пустишь?

Она молча прошла в ограду, открыла дверь, в избе включила свет, задернула занавески на окнах, присела к печке и подпалила приготовленные заранее дрова. Не снимая полушубка, он привалился к столу, положил шапку на подоконник.

- Закурить разрешишь?
- Кури, вот блюдечко под пепел.
- Анна, я есть хочу, салаты-винегреты не по мне. Не дай с голоду помереть.

Она пихнула на элетроплитку кастрюльку с водой, сунула в нее кипятильник и принесла с мороза мешочек с пельменями. Порезала булку подового домашнего хлеба, из подполья достала грузди, огурцы и капусту, открыла банку помидоров, поставила бутылку водки. Готовые пельмени выложила в глубокую тарелку и залила бульоном:

- Угощайся, Степан Федорович.
- А себе рюмку?
- Не пью я совсем.
- Со мной. Прошу, Анна.
- Ради тебя только. С Новым годом, Степан Федорович!

Она пригубила рюмку, сморщилась и закусила грибочком. Степан густо обсыпал пельмени перцем, полил уксусом и хлебал деревянной ложкой вместе с бульоном.

– Анна, отчего замуж не выходишь? Женщина ты видная, все при всем, есть на что посмотреть, на работе молодец, в доме у тебя порядочек.

Анна смахнула слезу:

– В молодости не повезло на доброго мужика, а потом где его взять, толковые все прибраны, а бросовые мне не нужны, лучше одной мучиться.

– Меня не прогонишь сегодня?

– Не прогоню. Только до света домой уйдешь, чтоб не видел никто...

* * *

Всю историю своих мучений Степан рассказал Анне, когда совсем перешел к ней.

Конечно, со стороны это невозможно понять, потому что и года уже подпирают, и семья у Батурина немалая, два сына и дочь, теперь в чужих краях живут, давно на своих ногах. Жена бессловесная, никогда поперек слова не скажет, со всем согласна. Дом приличный, хозяйство, мотоцикл «Урал» ему через райком выделили, считай, первому в колхозе. Со стороны посмотреть: что не жить? А он зачастил к чужой бабе, да и не особо скрывался, а когда в колхозной бухгалтерии женщин за обсуждением непутевой Анны застукал, спокойно сказал враз онемевшим, что Анна теперь жена ему, фактически жена, и что формальности все для людей они на днях оформят.

Вскоре после этого в райком вызвали, на всякий случай партийный билет с собой взял, Анну успокоил: никакого значения для них этот разговор не возымеет, разве что ускорит события да кровь немного попортит.

Первого секретаря Рыбакова Степан хорошо знал, тот в колхозе бывал частенько,

заместителя уважал, советовался по хозяйственным делам, но была за первым нетерпимость к вольным проявлениям, например, пристрастия к спиртному он не прощал, а еще любовных приключений. Поговаривали, что в молодые годы Рыбаков сам был ходоком еще тот, но со временем образумился, да и должность уже не позволяла вольничать, все-таки деревня, не спрячешься, люди все видят. В душе Степан заранее смирился с любым решением райкома, но как-то занозило: партбилет он на фронте получал, правда, тот давно отняли и выдали в порядке обмена новый, но год-то вступления обозначен, 1943-й. Знатное было время, по всем фронтам наступали, Степан в роте автоматчиков один остался от первого призыва, всех друзей схоронил или по госпиталям растерял. Отдашь билет – как часть памяти выбросишь.

Перед самым обедом секретарша позвала его из коридора, он вошел в кабинет, в котором не раз бывал на совещаниях. Рыбаков кивнул, не вставая, и руки не протянул, это Батурин отметил и заодно утвердился, что добра ждать не приходится.

– Садись, – сказал хозяин кабинета. Гость примостился на крайний стульчик. – Рассказывай, Степан Федорович, как дошел до такой жизни.

– Вы про работу или про что, Василий Петрович? – неожиданно для себя переспросил Степан.

– Ты дурака-то не валяй, мы с тобой не тридцать ли годов знакомы, так что давай начистоту, что там у тебя с семьей?

Батурин хотел было сказать, что семьи у него давно нет, как детей проводили, так и нарушилось все, будто они развезли с собой все благополучие и благопристойность этого завидного дома. Куда-то в пустоту провалились беззаботные дни семейной радости, когда после долгого дня на работе он приходил домой, мылся в баньке, заботливо протопленной хозяйкой, говорил с ребяташками об учебе, об играх, о книжках прочитанных. Не было для него другой жизни, работа и семья, жена и дети. Конечно, не насильно его женили, к тому времени такая мода прошла, сам выбрал свою деревенскую, сразу после демобилизации. Он пытался после определить границу между нормальной жизнью и ее утратой, и находил эту грань как раз на прощании с дочкой, которая после техникума вышла замуж и без свадьбы уехала на Север. Родители остались вдвоем, и сразу стало заметно, насколько они чужие без детей. Степан испугался своего открытия, но каждый день подтверждал, что это правда. Нет, он не ругался с женой, не устраивали они скандалы на всю улицу, как это бывало кое у кого, и сковородками друг в друга не швырялись. Опустела вдруг душа, жену ни в чем не винил, да и сам долго не мог разобраться, почему пироги стали невкусными, почему незаметно стал ночевать на диванчике, сначала как бы случайно засыпал под телевизор, потом и вовсе перебрался.

– Что там у тебя с семьей?

– С женой разводиться буду, Василий Петрович, так получается.

– Ты к женщине этой совсем перешел, с вещами?

– Пока нет, иногда дома ночую, хозяйство все-таки, надо поддерживать.

Секретарь встал из-за стола, прошелся по кабинету:

– Нехорошая картина вырисовывается, Степан Федорович, для руководителя, для члена партии, что люди говорят, ты знаешь? А говорят, что коммунист не может вести аморальный образ жизни. Ты согласен?

Степан напрягся:

– Не согласен, Василий Петрович, потому что коммунист тоже человек, а у человека чувства есть, как тут быть? В уставе нигде не написано, что я должен жить с нелюбимой женщиной.

– Ишь ты, какой теоретик, под свое многоженство уже марксизм подвел. Ладно, не

пузырись. Ты кругом неправ, потому слушай. Выговор по партийной линии получишь, на работе оставим, тебе сколько до пенсии?

– Два года.

– Доработаешь, там посмотрим. Имей в виду, поблажка тебе только за счет твоих заслуг, а что касается женщин, ну, подумай сам, Степан Федорович, дай сегодня волю – половина мужиков своих баб бросит, ведь так?

Батурин опять хотел сказать, что партийной дисциплиной семью не удержишь, но перечить не стал.

* * *

Анна никогда никому не говорила, даже близким подружкам, как они живут со Степой, боялась сглазить. Первое время она просыпалась среди ночи, выпрастывалась из крепких объятий мужа и суеверно смотрела на его лицо. Каким родным оно было для нее, женщины, ставшей законной женой в сорок пять лет! Вот эта родинка над бровью, шрам на щеке через всю шею, ножом в рукопашной на фронте получил. Морщинки у глаз появились, раньше не было.

Степан звал жену Анной, и дома, и на людях. Завел хозяйство, корову и овец, весной цыплят привозил гусиных и утиных, благо озеро за огородами. В кампаниях садились рядом, захмелевший Степан обнимал Анну и спрашивал на ушко, но чтоб другие слышали:

– Анна, скажи, ты меня любишь?

Анна смущалась и краснела. Крестный Максим Хромой однажды выговорил Степану:

– Степан Федорович, вот ты давечь опять про любовь. Тебе седьмой десяток, кака может быть любовь?

Степан широко улыбнулся:

– Максим, я тоже не знал, пока Анну не встретил. Любовь такая, что я без нее за стол не сяду и в постель не лягу. Вот обняла она меня, поцеловала – я сплю, как младенец. А ты?

Максим махнул рукой: что, мол, с тебя возьмешь, малохольного?!

Степан умер во сне и так тихо, что Анна не слышала. Проснулась: пора вставать. Надо через мужа тихонько перелезть, и сколько она ни старалась, он всегда просыпался и крепко обнимал ее, горячую со сна. А тут перелезла, поправила на нем одеяло и вроде пошла, но вдруг вернулась, увидела перекошенное лицо, схватила за руку – холодная. Не помнит, как выскочила во двор, добежала до Ольги, та вызвала участкового и медичку. Ольга же обошла соседей, покойника обмыли, одели, положили на плахи, закинутые половиками. Анна два дня просидела в изголовье, гладила волосы, поправляла воротник рубашки. Вспомнила: ко Дню Победы купила мужу, шибко она ему нравилась.

На кладбище, когда стали заколачивать гроб, она вскрикнула и потеряла сознание. С тех пор не вставала, не жаловалась, потом отказалась от еды, от лекарств, не согласилась ехать в больницу. Ольга видела, как она гаснет. В последний день поманила племянницу взглядом, шепнула:

– Степину могилу откроете, там мое место.

ПОСЛЕДНЕЕ ОТКРОВЕНИЕ

Рассказ

В небольшом северном городке захватила меня непогода, аэродром закрыли, десятка два неприкаянных пассажиров, видно, не в первый раз, терпеливо пережидали пургу. На все вопросы ответ диспетчера был один: как только успокоится, всех и отправим. Я не стал терять время, достал из сумки диктофон и стал прослушивать запись своих северных разговоров. Пообещал редактору три очерка, он согласился, и совсем незнакомого журналиста отправил в столь солидную командировку.

Приближался полдень, но это только по часам, белесая пелена, затянувшая все пространство над аэродромом, над городом и над всей Северной стороной нисколько не изменилась, дул ветер, и кто-то огромный могучими пригоршнями бросал охапки сухого и колючего снега. Солнце иногда пыталось выглянуть и посмотреть, что там, внизу, но его сразу прятали снежные объятия. Я пошел в буфет, не особо рассчитывая на вкусный обед, встал в очередь, продолжая слушать. Кто-то остановился рядом и тронул меня за плечо:

– Простите, вы Устичев?

– Да, – ответил я, чуть обернувшись и вынимая наушник. Рядом стоял солидный мужчина в дорогом полушубке и аккуратных унтах, красивую шапку из неизвестного мне зверя держал в руках. Где-то я видел этого человека, но сообразить не успел.

– Простите за бестактность, ждать нам долго, потому предлагаю поехать со мной, обед и ужин гарантированы, билеты продублируем по телефону, а самолет будет не раньше завтрашнего полудня.

Пока он говорил, я вспомнил, что видел его в областной администрации, он вел совещание по сельскому хозяйству, вел жестко, четко, требуя от выступающих конкретных объяснений и предложений. Кажется, он кого-то даже освободил от должности, отчего обстановка стала еще напряженной. Я тогда все доложил редактору, он, видимо, человек осторожный и хорошо знающий субординацию, предложил ограничиться краткой информацией. Было жаль потраченного времени.

– Не напрягайтесь, я Миргородский, заместитель губернатора. А вас знаю как писателя, дочка принесла несколько книг, прочитал, пока болел гриппом. И книги понравились, и портрет ваш запомнил. А потом вижу, в нашей газете печтаетесь. Так принимаете предложение?

Он куда-то позвонил из кабинета начальника, через полчаса в зал вошел мужчина и оглядел присутствующих, кого-то выискивая. Миргородский кивнул мне, мы вышли, уселись в «Волгу» и осторожно поехали в сторону города. Остановились у небольшого особнячка, закутавшаяся в шаль женщина встретила в вестибюле:

– Пожалуйста, Вениамин Матвеевич, номер готов.

– Нужен двухместный. Со мной товарищ.

– Хорошо, подготовим и ему номер.

– Я сказал: двухместный! И сразу хороший обед. Две бутылки коньяка. Тот, что вчера подавала, армянский. Помнишь?

Признаться, меня все смущало: почему большой начальник выбрал в компаньоны именно меня? Допустим, книги сыграли роль. Тогда почему он настаивает на двухместном номере? В одноместном же удобнее. К тому же я немного храплю, крайне неприятное обстоятельство. И приличный, как я понял, обед с коньяком – этому чем

обязан?

– Ты опять напрягся? Не возражаешь, если на «ты»? Не этим определяется уважение, я всегда перехожу на официальный тон, когда хочу поставить собеседника на место. Знаешь, действует. Ввожу в курс: это гостиница бывшего горкома партии, я ее построил, когда работал первым, здесь все чика в чикю, полный порядок. А я тебя сразу заметил, ну, и пригласил, когда понял, что все равно придется сутки коротать.

Две девушки принесли супницу, глубокие тарелки с мясом и рыбой, термос с кипятком. Достали из буфета горку чистых тарелок, из холодильника две бутылки коньяка, рюмки, лимоны и шоколад.

– Здесь как у товарища Сталина на даче: все приготовлено, а дольше самообслуживание. За этим столом сживали большие люди. Кто? Косыгин Алексей Николаевич, премьер, как сейчас бы сказали. Бывал часто Байбаков Николай Константинович, Рыжков Николай Иванович, все вице-премьеры. Одно слово – Север, нефть, газ.

Хозяин положил в свою тарелку солидный кусок мяса с овощами, большую вилку и ложку передал мне: самообслуживание. Налил по большому фужеру коньяка, потянулся чокнуться.

– Прости, дорогой мой, я не запомнил твое имя.

– Леонид, Кириллович, если официально.

– Леонид. Был у нас и тезка твой Леонид Ильич. Хороший мужик, но стержня нет, и пропало все дело. Давай со знакомством.

Выпили, поели мяса. Перед очередным блюдом Вениамин Матвеевич налил еще по фужеру. Коньячные рюмки сиротливо стояли на краю стола.

– Давай выпьем за женщин, Леонид. Собственно, женщина и стала причиной нашего сегодняшнего знакомства. Непонятно, правда? Я поясню. Ты сны видишь?

– Бывает.

– Не придаешь значения. Может, в твои годы и правильно. Давай вздрогнем, как говаривали мы в годы комсомольской юности.

Вздروгнули. Я никогда не пил коньяк такими дозами и чувствовал, что пьянею.

– А я сегодня видел во сне женщину из далекой молодости. Честно признаюсь, что забыл ее напрочь, ни разу не вспоминал, правда, был один случай... А сегодня явилась во сне, как будто вчера расстались.

Он встал, порылся в портфеле и вынул пачку сигарет, закурил.

– Курить бросил, но сигареты держу на такой вот случай. Скажи, писатель, инженер моей души: почему женщина тридцатилетней давности вдруг приснилась и столько замутила в сознании? Я тебе все расскажу, не отказывайся, иначе я запью горькую и в губернию не попаду.

Он налил себе конька и выпил молча.

– В молодости я работал по комсомольской линии, получил отпуск, приехал к родителям в деревню. Июль месяц, грибной сезон. Отец мой только что получил от государства «Запорожца» с ручным управлением, у него правой ноги по самый пах не было, отпилили где-то под Кировоградом. Вот на этой машине возил я их с мамой по грибы. Отец все места груздяные знал, командовал, куда рулить, ставили машину в тень, отец указывал, куда нам идти, а сам отбрасывал костыли и передвигался на пятой точке. Кстати, нарезал груздей больше, чем мы с мамой. Но не в этом дело. Едем из леса через маленькую деревеньку Борки, а дело к вечеру, мама говорит:

– Сынок, чтобы дома в магазин не ездить, остановись возле лавки, возьми хлеба.

Я зашел в маленький магазинчик, смотрю – Лариса, в школе вместе учились, только она года на четыре младше. Конечно, обрадовались, не виделись лет пять. Спрашиваю, как жизнь, она улыбается:

– Нормально. После школы уехала в Омск, работала, училась в вечернем техникуме,

замуж вышла, а как сына родила, муж меня и отправил по домашнему адресу.

– А почему ты здесь, а не дома у родителей?

– Отец не пустил с приплодом, а тут бабушка, его мама, приняла.

Я хлеб в авоську положил и смотрю на Ларису: красивая, фигурка девичья, волосы копной рыжеватые. Не удержался:

– Лариса, я к тебе вечером приеду? Можно?

– Приезжай, – кивнула она и покраснела.

Вечером помыл машину, попарился в баньке, и к ней. Лариса еще в магазине, порядок наводит на полках, потом ведро взяла и тряпку большую на деревянной швабре.

– Поберегись, – смеется, – а то уляпаю твои белые туфли.

Правда, я пододелся, надо же понравиться женщине, брючки светлые, белая рубашка, туфли. А тут неловко сделалось перед Ларисой, она и так устала за день, лицо покраснелось, лоб влажный от пота. Беру я у нее тряпку, ведро, и, как учил армейский старшина Шкурко, лью воду на пол и работаю шваброй. Лариса села на прилавок, ножки поджала, смеется. И до того мне стало легко и хорошо, подошел к ней, обнял влажными руками, только ладошками не касаюсь, чтоб не испачкать, и крепко поцеловал. Кое-как она выпросталась из объятий, смутилась, но я ведь вижу, что ей приятно. А ворчит:

– Не можешь чуток потерпеть, а если бы зашел кто?

– И пусть. Кого нам бояться? Ты девушка свободная, я тоже.

– Не ври. Я поспрашивала, сказали, что женат. А зачем врать?

Конечно, мне неловко. Опять обнял ее, шепчу на ушко:

– Лариса, не надо об этом. Ты нравишься мне, правда, я едва вечера дождался. Не гони, а?

Она соскользнула с прилавка, оглядела мою работу, засмеялась. А смех у неё колокольчиком звонким, почти детский.

– Веня, ты вино пьешь? Я поставлю в коробку бутылку портвейна, стаканы, конфеты. Ко мне нельзя, не хочу, чтобы бабушка знала. К тебе поедет? – Она опять засмеялась своей шутке. – В машине посидим, выпьем за встречу. Ты меня до дома довези и встань за околицей, я через часик подойду. Сын же у меня, я говорила.

Дождался. Прибежала, платьице на ней легкое, шарфик газовый, теперь таких уж нет, вся светится, села рядом со мной, повернулась, ухватила за голову и присосалась, целует и плачет. Я даже испугался, отринул ее, а слезы-то радостные, с улыбкой.

– Ты не подумай, Веня, что я каждому мужику вот так на шею бросаюсь. Ты мне еще в школе глянулся, я совсем соплюшкой была, а ты видный, отличник, комсомольский секретарь. Если хочешь – поинтересуйся, никто слова плохого про меня не скажет.

И опять жметя, я чувствую, что мелкая дрожь в руках, обнял, а она как-то обмякла вся, потом спохватилась, оттолкнулась и за коробку:

– Открой вино, а то зябко.

Врет, конечно, июль месяц, вечер прохладный, но в машине стекла подняты от комаров и мошкеры. Выпили мы по стакану вина, портвейн был «три семерки», чистый, приятный. Ты, наверное, и не видел такого?

Я улыбнулся:

– Не успел.

Тут мой рассказчик насторожился:

– Прости, Леонид, я тут расслабился. Тебе не интересно?

– Интересно. Говорите.

– А что говорить? Предложил я Ларисе выйти из машины. За деревней березовый колочек на бугорке, насобирали сушняка, костер зажгли, я старое одеяло тайно от мамы прихватил, расположились с вином и конфетами. Опять обнимаемся, целуемся, она жметя ко мне, но мне воли не дает. Я крепился-крепился, а потом спросил напрямую:

– Лариса, если я тебе не нравлюсь, зачем согласилась, зачем целуешь до помрачения?

Она смеется:

– А я с прошлой пятилетки не целованная, вот, наверстываю. Венечка, милый, чуть поторопились мы со свиданием. Кроме поцелуев ничего пока предложить не могу.

А сама от смущения зарылась мне в плечо и легонько покусывает. Я к тому времени уже битый был мужик, мало чему мог удивиться, а тут такая по мне теплота пошла, так стало радостно, что слезу пробило. Лежим рядышком, обнимаю ее, трепетное тельце чувствую через ситцевое платишко, волосы ее, полынкой пахнущие, вдыхаю, груди мяконецкие губами отыскиваю. Лариса до уха моего дотянулась и говорит тихонько:

– Веня, ты меня не разбалуй, не надо так, я ведь и поверить могу, а ты через неделю пропадешь. И что мне тогда? В петлю? Нельзя, сына надо поднимать.

Что я мог ей сказать? Воздержался от скоростных обещаний. Так в объятиях и рассвет встретили. Уже светать начало, зариться, как говорят у нас в деревне, Лариса легонько оттолкнула меня и прошептала:

– Измучились мы, все равно ничего не получится, увези меня домой, поспать до коров осталось два часика.

Подъехали к домику, она нежно, как ребенка, чмокнула меня в щёку, в губы:

– Завтра приезжай попозже, чтобы не ждать. Пока я разберусь с хозяйством. Ладно?

К вечеру следующего дня собрался дождь, забусил, прибил пыль на дороге, все живое под крыши загнал. Я оделся легонько, спортивный костюмчик, тогда трико называли, тапочки легкие, и в Борки. Лариса вышла уже по темноте, села в машину и смотрит на меня в упор. Я смутился:

– Что-то случилось?

– Случилось, да. – Она помолчала. – Веня, уезжай скорей домой. Я видишь, какая, как кошка: приласкал, так у ног и останусь, благодарная. Боюсь, что полюблю тебя. Да и уже люблю. Сегодня весь день только про тебя и думала. Понимаю, что глупости это, только у бабы по этой части ума никогда не хватает.

Помню, что смутило меня это признание. Одно дело, когда встретились, покурдались и расстались, а тут девчонка на таком серьёзе. Что я могу ей предложить? Женат, сыну второй год, а из партии и с работы попрут – это само собой. Понимаешь, – он плеснул в бокал конька и залпом выпил. – Понимаешь, было у меня ощущение, что это именно та баба, какая мне нужна. Красивая, чистюля, что на ней все скромненько, но приятно посмотреть, что в магазинчике её. И страстная, откровенная в чувствах, я терпеть не могу жеманниц. Душа к ней рванулась, это помню. Обнял тонкие её плечики, она опять в грудь уткнулась и что-то шепчет. Прислушался – ничего не пойму.

– Ты говори громче, Ларочка, я не пойму ничего.

– А тебе и не надо понимать. Я молю Бога, чтобы ты поскорей уехал и забыл меня.

– Мне в субботу надо выезжать, два дня осталось. Лариса, пойдем к тебе, бабушка спит...

– Нельзя. Мне будет стыдно.

Дождь стекал по стеклам машины, не оставляя никакой надежды на старенькое одеяло. Так и прообнимались, пока Лариса на часы не глянула:

– Ой, уже третий. Венечка, приезжай завтра.

Выходя, она крепко меня поцеловала и улыбнулась, я видел ее улыбку в свете слабенького фонаря:

– Весь день буду молиться, чтобы дождь перестал.

Дождь шел два дня подряд, мы смирились с судьбой и, как школьники, обнявшись, говорили о каких-то пустяках. В последний вечер я попросил Ларису взять немного денег. Она смутилась:

– Веня, я зарабатываю.

– Ты не поняла. Купишь себе часы золотые, подарок от меня. Возьми, прошу. Лариса, я буду скучать по тебе и всегда помнить. Мне так сильно хочется прижаться к тебе, всю тебя почувствовать. Я с ума схожу!

Она тихо шепнула:

– А я-то!

На том и расстались. Осенью меня направили в Москву в партийную школу, семью оставил дома, так что время проводил весело. Про Ларису и не вспоминал. На летних каникулах поехал к родителям, автобуса дожидаться не стал, остановил грузовик с зеленой полосой, был такой опознавательный знак для транспорта потребкооперации. Водитель, молодой мужчина моего возраста, не очень разговорчив.

– Ты через Доновку поедешь?

Он кивнул.

– Товар везешь?

Опять кивнул.

– В Борках продавцом Лариса работает?

– Нет, она теперь в Луговой.

– А почему?

– Замуж вышла, теперь жена моя.

Честно скажу, я испугался. Это же деревня, ничего не скроешь, мама моя мне выговаривала, что с толку сбиваю хорошую бабочку. Значит, и он мог знать про нас с Ларисой. Не думаю, что ему приятна эта встреча.

– А ты почему интересуешься?

Я ничего не успел придумать и ляпнул первое, что пришло в голову:

– Брал у неё в долг две бутылки водки, а рассчитаться не успел, уехал. И родителям не сказал.

Парень головы не повернул, сказал безразлично:

– Давай, я передам.

Я быстро вынул бумажник и протянул ему деньги. Он положил бумажку в карман и продолжал рулить, не глядя в мою сторону. Неужели он знает? Любопытство побороло осторожность, и я уточнил:

– Скажешь, что от Миргородского.

– Знаю, – ответил он равнодушно.

Вот так, дорогой мой писатель, какие штуки выкидывает жизнь.

Я молчал. Получается, что эта романтическая история случилась не менее тридцати лет назад. Но почему он о ней вспомнил именно сейчас?

– Вениамин Матвеевич, вам сон напомнил о Ларисе?

– Да, сон. Но сон случился не просто так. Я недавно в гостях был у Ларисы. Признаться, на родине давно не бывал, родителей похоронил, родных никого. Ты знаешь, что мы пытаемся сохранить производство в деревне, но не всегда получается. Есть и в моем районе приличные частные предприятия, но есть населенные пункты, где вообще все производство загубили реформаторы хреновы. Сразу не подвернулся деловой человек, а временщики все прибрали к рукам, скот на колбасу, технику сбывали по дешевке. Народ остался без работы, выживай, как знаешь. Приехал я в родное село и ужаснулся: все мертво. Фермы растащили, поля заросли, в село понаехали чужие люди. Сидит в сельской администрации бывший парторг, старый мой знакомый. Пожаловался, такую тоску нагнал. Прикидываю, что могу сделать для земляков. Был у меня проситель с предложением серьезно заняться картофелем, вот, думаю, предложу ему здесь развернуться. Но главе ничего не сказал, а спросил:

– Неужели нет у тебя ничего, что бы сердце порадовало? Неужели мои земляки совсем руки опустили?

И он предлагает посетить семью, которая держит десяток коров, сотню овец, бычков продает на мясо. Машину легковую имеют и новый дом строят. А самое интересное в том, что в одном доме родители и дети с внуками, да так дружно живут, что всей деревне на зависть. Я кивнул: поедем, хоть одно приятное впечатление от посещения родины.

Приехали в Луговую, остановились у строящегося дома, рядом старый стоит и все вокруг обнесено хозпостройками, пригонами у нас зовут помещения для скота. Дело было осенью, по холодку, но скот пасется, разумный хозяин корма экономит. Встретил нас молодой мужчина и супруга его, пригласили в дом. Глава знакомит с молодыми и старшими хозяевами, у меня очки запотели, протираю стекла платком, руки пожал, а имен не расслышал. Хозяйка ставит на стол большую жаровню с мясом, хлеба нарезала домашней выпечки, бутылку водки разлила по стаканам. Сын рассказывает про хозяйство свое, говорит, что плохо помогаем крестьянам. Спрашиваю:

– Что тебе нужно сегодня, чтобы работать без проблем?

Он сразу отвечает:

– Видел в агрофирме комплекс сенозаготовительный, но дорого, нам не подняться.

– Половину стоимости закроем бюджетом, вторую часть поделим на пять лет, но при условии, что для земляков будешь сено заготавливать по себестоимости плюс двадцать процентов ренты. Все с главой согласуете.

А мама его подсказывает:

– Сережа, проси доильный аппарат. Мне прямо жалко сноху мою любимую Клавочку. Когда все коровы растелятся, попробуй этот табун продоить. Сама хожу, помогаю.

Тут глава вмешался:

– Лариса Михайловна, мы же вам года три назад доильный аппарат продали!

– И что с того? Разве это машина? Одно слово: не иначе китайский, года не прослужил. Не в обиду начальникам – далеко вам до советского. Вот часики золотые, тридцать лет идут и ни разу не остановились.

У меня сердце зашло: это же Лариса! Узнала, дала знак, что узнала, я поднял глаза, она улыбается той самой улыбкой. Чуть расплелась, а лицо той же красоты, как я мог не узнать?! Смутился, встал из-за стола, поблагодарил хозяев и вышел во двор. Молодые пошли провожать, а я ждал Ларису. Она подошла, подала руку. Я молча пожал и пошел к машине. Тронулись, она подняла правую руку, а левой смахнула что-то со щеки.

Вениамин Матвеевич замолчал, прижег сигарету, глубоко затянулся. Я не смел мешать. Было заметно, как сильно переживал он рассказанное.

– Понимаешь, Леонид, вот тогда я понял, что упустил свое счастье. Жена, дети выросли, а семьи не было, и нет. Да, я сделал карьеру, на мне огромная ответственность за аграрный сектор, миллионами распоряжаюсь, как своими. Много могу позволить, а радости нет. Может, это было мое место в жизни около Ларисы? Мои дети сейчас доили бы коров, я помогал им построить дом, ласкал бы вот этих трех внучат, которые смиренно сидели в соседней комнате и вышли только тогда, когда бабушка позвала проститься с гостями. Тогда я ее упустил. Ты знаешь, есть еще одна деталь в этой истории. Перед отъездом от родителей я решил вымыть машину, под дождем на грунтовке три ночи, не оставляя же отцу свой грех. Протираю пыль в салоне, и вижу у правого сиденья внизу рычажок. Нажал – спинка откинулась назад. Я чуть не заплакал от досады. Понимаешь, этот рычажок мог все изменить. Мог. Переступив эту черту, я мог решиться на отчаянный поступок. Но ничего не произошло. Давай еще по чуть-чуть, и спать.

К обеду погода наладилась, нас привезли прямо к самолету, но при посадке мне сказали, что мой билет в другую машину, она стоит рядом. Кивком головы я попрощался со своим новым знакомым. Самолеты поднялись один за другим и взяли курс на юг.

Утром я пришел в редакцию и узнал страшную новость: вчера в самолете скончался заместитель губернатора Вениамин Матвеевич Миргородский.

– У него, видимо, слабое сердце, – сказал редактор. – В последнее время он был сам не свой, говорили, что даже ушел от жены и жил на даче. Как такое возможно в пятьдесят лет? Не понимаю.

Я не стал ничего ему объяснять, уехал домой и всю ночь просидел с бутылкой армянского коньяка, которую перед отъездом из гостиницы Вениамин Матвеевич засунул в мою сумку.

Николай Ольков

СЕРЕБРЯНЫЙ КУПОЛ В ГОЛУБОМ НЕБЕ

Деревенская быль

– Четыре братца пошли на речку купаться. В небе молния сверкнула, с неба кумушек упал. Один перекрестился, другой недокрестился, двое за руки взялись! – Оттароторил Венька и накатил на друзей: – Чё получилось? Кто знат?

Знали, конечно, все, но связываться с Венькой не хотелось, он спорун страшный и никогда не признает, что проиграл, всегда упирал на то, что «на правду сойдется». Венька выше других ростом, серые и всегда грязные волосы торчали на темени и на затылке, придавая хозяину грозный вид. На руках «цыпушки» – летом кожа трескается от воды и грязи. «Цыпушки» были и у всех других ребяташек, кроме Славки – мать за ним следила. Этим летом она дала Косте вазелин, он вечером с мылом тер руки и смазывал, обернув платком умершей матери. Венькин отец Анатолий Брызгин был бригадиром тракторного отряда, а прозвище носил Беспалый, потому что в войну сплоховал, и какая-то штука разоралась в его кулаке. «Э-э-э, – говорили вернувшиеся солдаты. – На втором году службы он не знал, как с миной обращаться? Его надо было в штрафбат или к забору, а он домой поехал с забинтованным кулаком». Анатолий по большой пьянке проболтался, что в полевом госпитале положила на него глаз пожилая врач-хирург. Ну, не сказать, что пожилая, однако офицеры ее отодвигали, пробираясь к юным медицинским сестрам. Анатолий и до войны был парень

сообразительный, выучился на тракториста, а как призывать начали, удостоверение спрятал, с командой прибыл в танковый батальон, а там признался, что хоть прав и нет, но в танкисты быстро охота. Знал, конечно, что никто его дубликаты запрашивать не будет, и остался Анатолий при батальоне на подхвате. Взрыватель у него в правой руке сработал подозрительно удачно, в аккурат перед танковой атакой – не до него. Ребята на броню и вперед, он кровавый кулак под мышку и в госпиталь. Дарья Власьевна вся в предчувствии поступления раненых и обгоревших, быстро окромсала ему куски кожи и раздробленные фаланги, однако на каждом пальце по обрубку остались. Хирург работала без особой заботы о состоянии пациента, ни обкалывания, ни наркоза – полстакана чистого спирта, это она называла прифронтовой анестезией. Анатолий мужественно перенес экзекуцию и был вознагражден поцелуем взапас. «Солдат, я тебя при госпитале оставлю, демобилизацию организую, пошли ко мне в кабинет, потискай меня, ты же мужчина». С этого момента началась у Венькиного отца новая жизнь. Три месяца обслуживал он Дарьюшку, которая оказалась на пятнадцать лет его постарше, но всегда приговаривала, что она, любовь, то есть, ровесников не ищет, и выжимала из молодца все соки. На усиленном пайке Анатолий отъелся, а когда начальник медслужбы корпуса увидел его в палате, сразу все понял и предложил хирургу в течении суток решить судьбу солдата. Дарья Власьевна подготовила протокол военно-врачебной комиссии, который без сомнения подписали все, кому следовало. Вкусивший волюшки гулеван оказался очень кстати в деревне, где выросло целое поколение не целованных девок, и тосковали молодые вдовы и просто солдатки. Анатолий так размахнулся, что к нужному сроку не восемь ли малышей приняли повитухи, и все матери в сельсовете указали на Тольку Брызгина. Перепуганный насмерть угрозами троих отцов испорченных им девок, троих фронтовиков и отчаюг, он на годик смотался в дальнюю МТС и переждал ненастье. Вернулся с женой и двумя ребяташками, чем поверг в смятение всю деревню. Расчет был простой: ну, привези он близнецов трехмесячных, тогда бы все было в порядке, а парнишка пяти и девчонка трехлетняя в эту арифметику не укладывались. Вся деревня говорила, что это отлились слезыньки невинных девиц и вдов-молодок, Толькой искушенных, Бог, оказывается, шельму все-таки метит, вот и попал Анатолий в руки бабочке, у которой два брата всю войну в тюрьме просидели, а сейчас вернулись поприличней победителей, в хромовых сапогах и при шляпах. Анатолий жил у вдовы на правах мужа, а когда брательники появились, смикитил, что сие не в его пользу и вроде собрал чемоданчик для перебраться в общежитие. Брательникам это пришлось не по душе, Анатолию показали две обоюдоострые финки, способные продырявить его насквозь вместе с фуфайкой, и сказали, что только он от любимой сестрицы дернется, то с того дня бабы уже будут ему без надобностей. Брательники согласились, чтобы новая семья переехала в деревню мужа, но предупредили: только один раз что узнают... По приезде Анатолий неделю пил, пока председатель не пригрозил НКВД, бражку пришлось бросить и начинать работать. На том веселая часть жизни Анатолия Брызгина окончилась. Но будет еще другая.

У Кости наоборот, отец Максим должность исполнял на лошадке, вечером уезжал к работающим в поле тракторам или комбайнам, а перед тем с утра, пока бабы не ушли на работу, объезжал дома всех механизаторов. В поле кормили только один раз за счет колхоза, а во всякое иное время надо было развязывать семейный мешочек и кормиться, что супруга прислала. Мужики принимали его гостинцы, ужинали и продолжали пахать, сеять или молотить, пока погода позволяла или пока сон не валил. Особенность этих его обязанностей позволяла Максиму знать кое-что из семейной жизни, чего бы

постороннему человеку знать не следовало. Было, что стукнув в окно Ульянки Макуриной, за бесшабашно отдернутой занавеской увидел метнувшегося в сенки Ваню Соловья. Среди дня Ульянка прибежала, сунула в Максим ходочек с плетеным коробком поллитровку и стыдливо прикрылась платком. «Максим Петрович, ради Христа, никому не сказывай, до моего донесется – зарежет ножиком. Слышь, Макся, ежели что, дак тебе-то я завсегда открою за доброту твою». Максим был большим шутником: «Ладно, сговорились, только седни не жди, от Ваньки обсохни, да на седняшний вечер у меня уже одна намечена, тех я вовсе голяком прихватил на соломенной подстилке у погреба». «Поди, колется солома-то?» – Посочувствовала Ульянка. Максим хмыкнул: «Знамо, что колется, дак они же не дураки, мужнин тулупчик раскинули». Знал Максим, кто какие щи варит, вкусно из печи через чувал пахнет, или так себе. Знал и видел хлеба, какие укладывали ему бабы для мужей своих. Дивился на пышные булки, на круглые калачи, печеные на горячем поду, были и такие, что совали в мешочках твердые, как кирпичи, ковриги, и на ехидный вопрос Максима «Чего это они у тебя так испугались, что присели?» одинаково поспешно отвечали: «Ой, да! Квашня не подышла!». По мешочкам этим отмечал он мужиков любимых и для баб своих, как свет в окошке. Баб сердечных по кошелкам определял. В тех мешочках были баночки со сметаной, десяток вареных яиц, первые огурчики, если по сезону, а то и вместо шматка надоевшего сала половинка отваренной курочки. «Вот, – думал Максим, – в одной деревне жили, одну травку на вечерках мяли, от одних дождей под утлые крышки сараев прятались, а одни сошлись, как так и надо, а иные ненавидят друг дружку, только все равно живут. Сам он, как говаривал, «для семейной жизни не годен», на фронт никто не провожал, кроме матери, ни одна бабочка по нему слезинки не проронила, потому что к тридцати своим годам, к явлению повестки военкоматовской, вновь Макся оказался холостым, хотя признавался, что «не три ли раза его отец под венец водил». Отвоевался, когда осколком снаряда оторвало ступню, потом из-за гангрены пилили ножонку еще дважды, Макся все шутил, что так могут и до причинного места добраться, но обошлось, перед коленком перехватили дурную кровь. На диво всей деревне не самый бракованный мужик женился на вдове с двумя ребятишками. Мать ругалась, а он свое: «Уйду к ней. Тянет». «Ну, и протянете ноги всей семьей, ты калека, она малая ростом и телом слаба. Кто робить будет?». Но Максим с Марией еще одного мальчонку прижили, вот он сейчас в этой кампании и попрекал Веньку, что тот верх всегда силой берет. «А чем надо?» – нагло спрашивал Венька. «Умом» – сам не зная, почему, резко отвечал Костя. Он был низкого роста и сильно худой, можно подумать, что больной. Нет, в беге, или когда «попа гоняли», не уступал многим, плавать не умел, потому что пяти лет по недосмотру сводных братцев чуть не утонул, потому воды боялся. Белобрысый, веснущчатый, с высоким лбом и чуть оттопыренными ушами, впечатлительный и обидчивый.

У Володьки Бороздина отца не было вовсе, нет, в самом-то начале он, конечно, был, а потом исчез. Володька его не помнит, а у матери ни единой фотокарточки нет, и не было, кто в те годы в деревне портреты делал? Никто не знал, на кого похож парень. Крепкий, сильный, злой. На лице шрам во всю щеку, но это не по драке, это он сонный упал с полатей и зацепился за гвоздь. Тогда все говорили: хорошо, что не глазом. Володька единственный из друзей, у кого есть отчим. Володька зовет его отцом, только не любит, и тот Володьку не любит, однажды при Косте назвал недосыном. Костя спросил друга, кто это такой – недосын, а Володька с обиды ударил его под дых. Вообще под дышалку просто так бить не разрешалось, потому что после этого долго в себя приходят, а тут сорвалось. Костя

долго стоял, согнувшись, Вовка ждал, потом хлопнул по плечу. Извиняться никто не умел. Отчим с матерью родили еще троих ребятишек, младшую сестренку к пяти годам увезли в интернат для слепых, и больше дома ее никто не видел. Вовка здорово играл в бабки. Дядя Семен, родной брат его отца, был колхозным кузнецом, он такую плитку племяшу изладил – всем на зависть. Вырезал из толстого железа прямоугольник, посерединке дырку пробил, острые грани сточил и зубилом по горячему словно вышил слово матерное из трех букв. Володька носил плитку на веревочке, которую перед игрой снимал и прятал в карман, и по подсказке отчима брал с игроков по одной бабке за кон. Проигравшиеся убегали домой, чтобы выречь у матери гривенник и купить у Вовки десять бабок – по копейке за штуку. Володька был отчаянней всех, потому что никто не мог сделать круг на все еще вращающихся крыльях брошенной ветряной мельницы, а он мог. Когда крыло вставало прямо перед ним, он запрыгивал повыше, цеплялся руками и ногами и медленно плыл в высоту. Момент невозврата наступал, когда следующее крыло оказывалось между ним и землей. Володька вставал вниз головой и вся ребетня замирала. Так же медленно крыло вставало в нижнее положение, Вовка спрыгивал и, презрительно осмотрев публику, ложился на траву отдохнуть. Все благоговейно стояли рядом. За нелюбовь и нечастые подзатыльники Вовка мстил. Отчим с весны до осени по двору управлялся в литых лаковых калошах. Калоши те стояли на крыльце под жиденьким навесом. Первый раз, промочив носки, отчим пинал кошку, потом ругал бабу, что неловко несла воду в ведрах и сплеснула из ведра, наконец, очередь дошла до кровли навеса. Почерневший шиферный лист хозяин заменил свежим и пропустил по карнизу две тесины. Когда он снова с матерками пришел в избу снимать мокрые носки, жена принялась: «Проня, свята икона, от тебя все время мочой пахнет. Ты случайно в калоши не попадаешь?». Володькины проказы отчим изобличил и хотел побить, но мать спрятала сына за спину: «Только тронь!». «И трону». «Нет, не тронешь. Проня, я тебе за сироту горло ночью перережу». Проня поверил, но Вовке стало еще хуже. А тут еще он упал с березы. По весне ребетня уходила в лес на весь день. Из дома брали по краюхе хлеба и спичечный коробок соли. На всех было одно ведро «подойничек, маленькое и легкое, прокопченное, кажется, насквозь. В лесу питались. Летом дома есть нечего, кроме молока, что в кринке оставит мать в погребе от утреннего удоя, все остальное на молоканку, в зачет каких-то поставок. А в лесу уже можно было нарыть саранок, вкусных и сытных луковиц, сломить молодую пучку, а всего ценнее – найти колонии гнездовищ сорок и ворон. Тут все лезли на деревья, проверяли гнезда, небольшие яички складывали в рот и спускались. Кто-то уже нашел старый обвалившийся и заросший смородиной одиноличный колодец, ведро с водой стояло наготове, а куча сухого валежника обещала быстрый обед. Общими силами вдавливали во влажную землю две рогатки, поперек ложили обломанную сырую осинку, на нее вешали ведро. Прикидывали, чтобы вода только чуть скрывала яйца. А сбор продолжался, птицы грозно кричали, пикировали на грабителей, обливали жидким вонючим раствором. Все терпели разбойники, потому что даже закричать нельзя: полный рот добычи. Да, бывало, что сваренное яйцо было запарено, в ином и птеник просматривался, но все остальное съедалось вместе со скорлупой. В этот раз Володька сплеховал, сучок под ним обломился, и он полетел вниз, крича во все горло и выплевывая раздавленные яйца. О нижний крепкий сучок Вовка ударился боком, неловко крутнулся вокруг него и свалился без сознания. На него плескали воду, дули в лицо, потом сняли рубаху и испугались большого синяка на боку. Когда друг зашевелился, его приподняли, он не мог говорить, только высунул кончик

едва не до совсем откушенного языка. Шла посевная, кто-то побежал на дорогу и вернулся с машиной. Шофер, сродный дядя Володьки, накидал всем по загравкам, пнул ведро с яйцами, посадил парня в кабину, всем велел прыгать в кузов и сидеть тихо, как мыши. Володьку увезли в больницу, но ничего страшного не нашли, через неделю отпустили. Володька был героем.

Славка считался у ребят самым счастливым. Он всегда был чисто и аккуратно одет, но команды не гнушался. Широколицый, глаза большие и серые, лохматые, как у взрослого, брови. Славка один из всех нравился взрослым девчонкам, они ловили его и целовали, пока он не вырывался, вытираясь чистым платком и тихонько матерясь. Во-первых, его родители работали учителями, Вера Семеновна учила младшие классы и к друзьям никакого отношения не имела, зато Василий Матвеевич, фронтовик, раненый в лицо, отчего из-за разбитой челюсти речь его была резкой и жестковатой, всем своим видом нагонял страх. На уроках физкультуры учил ходить строевым шагом, делать комплекс упражнений, учил лазать по шесту и по канату. Зимой, поскольку лыж на всех не хватало, гоняли по площадке футбол. А потом были уроки труда, где надо было правильно держать ножовку, рубанок, топор. За каждый промах Василий Матвеевич строго выговаривал и гнал от верстака. Однако все они только со временем поняли уроки учителя, когда с одного удара вбивали гвоздь, ловко строгаючи полки для первого своего угла. Со Славкой дружили, но домой к нему отваживался ходить не каждый. Славка иногда брал ключи от лодки, прикованной на плесе, звал с собой Костю, и они выезжали блеснить, или гонять блеску. Славка подплывал под самый берег Малого омута, бесшумно укладывал на дно лодки весло и начинал по правому борту запускать блеску, разматывая с катушки толстую леску. Косте доставался левый борт. Славка закладывал леску за ухо, чтобы слышать блеску, а Костя держал в руках, чуть поднимая над водой, меняя глубину. Щука хватала блеску жадно, как живого чебачка, леска дергалась, и тогда счастливчик ловко выбирал леску, подводя добычу к лодке. Чаще всего подались небольшие щургайки, их звали «локотушки», но случались и серьезные щуки, выводить которых было не просто. Если щука срывалась и уходила, Славка ругался матом и показывал на раскинутых руках, какая рыбина ушла. Костя срывы переносил спокойно, все равно за вечер достанет три-четыре штуки, принесет домой, и новая мать, пятая по счету после смерти мамы, похвалит, рыбу почистит, подсолит и поставит в погреб – для всякого случая. Славка был единственным из всех ребятишек деревни, кому вырезали аппендикс. Летом пошли поиграть в Левкасный лог, полазить по карьерам, в которых в войну и после еще несколько лет люди копали левкас, скатывали его в небольшие головы и продавали в городе на рынке. Левкас – не прижился, проще было звать левкасом. Наигрались, пошли к старице искупаться, и на взгорке наткнулись на солодку, невзрачная трава, но корень у нее сладкий. Полакомились, а Славка, видно, то ли проглотил часть корня, то ли грязь попала – вечером заорал от боли в животе. Отец завел мотоцикл М-72, усадили Славку в коляску, Мария Семеновна села на заднее сиденье и поехали в участковую больницу, что в десяти километрах от деревни. Славка потом рассказывал, что утром хирург, который его резал, принес на блюдечке его аппендикс и поставил на тумбочку. Был он похож на крючковатого жирного червяка. Славка уверял, что только отвернулся, глянул – а блюдце пустое. Позвал медсестру, всей больницей искали и не нашли. Ребятишки верили. Мария Семеновна, когда узнала, строго-настрога запретила Славке врать. Он, если честно, то и почти не врал совсем, так, реденько.

Деревни в Сибири – как люди, вроде и похожи друг на дружку, а приглядишься – далеко не родня. Есть такие, что вдоль озера одной улочкой выстроены, а в соседней все дома в куче, только переулочки и разделяют. Наша на отличку ото всех, две улицы повдоль, две поперек, только у малой речушки Сухарюшки с одной стороны дома поставлены, а на береговом склоне бани прилепили. Это в Зареке, где первые поселенцы облюбовали. Сказывали старики, что из Смоленской губернии переезжали всем селом, не только скарб – церковь деревянную разобрали и на новое место перевезли, сложили и вновь освятили. А потом пригнали казаков с какого-то восстания, семьями, да большими, землю им отвели по их выбору. Казаки в основном оказались народом вполне приличным, помогали храм строить и ходили потом молиться. О судьбе своей не шибко делились, но случалось, на ночной рыбалке Илья Казаков (их всех такой фамилией называли) после вечерней ухи и бокальчика самогонки рассказал, что в их станицу прибегали гонцы от Емельки, но народ не хотел ввязываться, да и какая нужда: у каждого хозяйство, земля, дом. Еще думалось: и супротив царя как? На круге решили старики: ни одного казака в разбойные банды не пущать. А когда сам Емелька пришел, выслушал старшинское решение, стариков велел пороть на площади, чего в века не бывало, а всех казаков от шестнадцати до пятидесяти лет с конем и оружием в строй. Правда, скоро и баталии с войсками начались, наскочила на нас конница, а мы покидали оружие и сдались. Суд был неверный, не учли нашу невольность, а погнали в Сибирь. «Одно хорошо, – сказал Илья, – что места тут золотые и народ славный. А там видно будет». Случился в Петровки большой пожар, тогда чуть не полдеревни выгорело, ладно, что догадался Паша Менделев, огонь еще в сотне метров, а он велел свой дом разобрать. Верно говорят, что ломать – не строить, в минуту крышу скинули и бревна выкатили на середину улицы. Вот тут огонь и захлебнулся. Тогда и церковь сгорела. Кто видел, клялись, что горела она, как свеча, такой же язык пламени, только огромный. А потом три столба огня ушли в небо, потому что было в церкви три престола, они с огнем всю святость унесли в небеса. Сразу народ послал ходатаев в Тобольск ко владыке, но тот денег на храм не дал и не обещал, а проект, мастерами нарисованный, благословил. Вернулись ходоки, глаза в пол: нет ничего и не будет. И тогда восстал народ: «Отчего не будет, ежели мы того желаем?». Собирают сход и решают, с какого дома сколько серебром ли, ассигнациями или зерном или мясом должно быть внесено. И казначея избрали, и ящик сковали в кузне под два замка: один у казначея, другой у старосты. И прорезали столь узкую щель, что туда ты монету либо бумажную деньку просунешь, а обратно ей уж нет ходу, сколько ящик не тряс. Да и трясти его было невозможно, приковали в волости к полу надежно. Десять лет собирали по крохам, а когда вскрыли ящик, оказалось довольно, чтобы артель подходящую искать. Сыскали в уездном городе Шадринске, мастера проект посмотрели, потом велели показать, где может глина залегать, для кирпича пригодная. Все кругом изрыли, а нашли под берегом Сухарюшки, рядышком. Так мяли мастера, и этак – сошлись, что весьма годна для делания кирпичей. Стали формы ладить да глину месить, всей деревней сходились. Потом сараи рядами выставили, наделали полки, сырые кирпичи выкладывали и каждый день переворачивали, сушили. Дальше артельщики из этой же глины сбили большую, как пещера, печь, народ носил кирпичи, а мастер командовал, как укладывать. Потом разожгли большой огонь, вход в пещеру замуровали, только снизу оставили пустоту для тяги воздуха. Густой влажный дым выходил в задней части печи, мастера ни на минуту не отлучались, то тягу уменьшат, то дымоход приоткроют. Все лето работали. Отверзнут артельщики ворота в печь, народом начинают выносить обожженный

кирпич в отдельные сараи. Потом мастера стали искать место для церкви, всю деревню с тихим молебном обошли, остановились на взгорке, где по утрам коров собирают в табун. Сделали замеры, вбили колышки, велели священника везти, чтобы освятить место и водружальный крест поставить. Три лета артельщики выводили стены, башенки и купола, потом кресты нарисовали и велели кузнецам браться за дело. Купец Афанасьев нужного железа привез. Чудные вышли кресты, легкие, как воздушные. На водружение опять батюшку привезли, самые отчаянные мужики, благословясь, поднялись по веревкам на алтарь, укрепили крест, потом на колокольню, и крест тяжелый, но с божьей помощью укрепили и его. Большой молебен отслужили. А по зиме на крепких санях, запряженных четверкой тяжеловозов, аж из города Каменска привезли колокола, один большой, поди, на сто пудов, да набор вплоть до маленького, в четверть пуда. Опять служба, опять охотники лезут наверх и по указке мастеров крепят колокола на мощных дубовых бревнах, матицах, вложенных в стены. На освящение прибыл сам владыка, народ собрался весь, от стариков до младенцев, тут же крестили и исповедовали. А батюшка, назначенный на приход, перед народом на колени встал и благодарил за храм, и нарекли его при освящении в честь Рождества Христова.

Великий разум и могучая сила создавали эти места. Вот только что ни спроси – все есть. Озеро прежде всего, на берегу которого в давние времена, еще до переселенцев, в землянке жил старец Афоня. Кидал с берега утлый невод, доставал несколько рыб, и тем жил. Говорить уже не мог либо не хотел. Умер тихонько, и стали мужики место для кладбища искать. Выбрали под Горой высокий песчаный бугор, там и упокоился раб божий Афоня, а чтобы долго имя новой деревни не искать, сказали «Афонино», и всем поглянулось. Сколько глаз видит, вьется Гора из казахских степей и далее в холодные северные края, местами крутая, а потом опять спокойный склон. Изрезана оврагами и логами, как шрамами по телу отчаянного ратника. Сразу на Горе березки да осинки, заросли смородины, малины и ежевики, а еще костянка, голубянка. В июле попрут грибы, неведомые, но бабы быстро разобрались, что самый добрый после белого – груздь настоящий, очень хорош вымоченный и засоленный – аромат, вид благородный и похрумкивает. В трех верстах в глубине мелколесья вдруг возникает широкая лента сосны, кедра и лиственницы. Так лентой и стелется вдоль Горы. Обошли мужики после первой посевной окружные земли и подивились: столько воды, не то озеро, не то старица. Старицы переходили одна в другую, и имена получили разные: Мочище, Малый омут, Афонино, Большой омут, Прорва. Это с одной стороны. А с другой так намешано, что и не разобрать. Вот Арканово, ну, точно озеро, но вытянутое, все равно река. А дальше Диконькое, Слепое, Утиное, Поперечное, Ванькино, Калачик. А кроме того – с полсотни малых озерин, которым и названия не стали давать. Все это было в давние времена, Костя записал от стариков, кто что помнил. А потом приехали ученые, три недели жили в палатках и изучали местность. Ученые – это для ребят, на самом деле студенты-землеустроители, изучали их старицы, изрезавшие всю подгорную часть деревни. Старицы эти сильно интересовали Костю, вечером он подъехал к палаткам на велосипеде, отец купил после смерти матери, хоть чем-то отвлечь парня. Студенты варили картошку, очищенная селедка и лук уже томились на сколоченном из досок столе.

– Проходи, молодой человек! – Радужно пригласил кашеваривший паренек в трусах и майке. – Что скажешь?

Костя знал, что надо сказать:

– Все названия у нас для озер, а по форме почти все речки. И откуда питаются? Неужели везде родники бьют? И почему их только у нас так много, в других местах, мужики сказывают, настоящие озера, круглые, по километру и боле?

Парень засмеялся:

– Ты вопросов задал на целый вечер разговора. Леня, иди, посмотри за картошкой, а я удовлетворю любопытство будущего исследователя. Ты знаешь, что рядом протекает река Ишим, узкая, мелкая, но – река. Так вот, мы склонны считать, что ваша Гора есть берег древнего Ишима, потом произошли какие-то изменения, Ишим сузился и принял нынешний вид. А в тех местах, где испокон веков били родники, образовались озера и старицы. Форма их могла зависеть от плотности грунта и интенсивности родников. В целом понятно?

Костя кивнул:

– А где второй берег древнего Ишима?

Студент развел руками:

– Нету. Ни на одной карте нет ничего похожего. Скорее всего, берег был положим и скоро сравнялся с окружающей местностью. Картошку с нами будешь есть?

Косте было неловко садиться за чужой стол, но за время после смерти мамы и длительных гуляний отца он научился отличать, когда приглашают от души, а когда ради приличия. Вот несколько раз приходили к Славке, Мария Семеновна заставляла мыть руки и садиться за стол. Славка упирался, он только что ел. Мария Семеновна сурово на него смотрела, и Славка послушно хлюпал умывальником. Такого супа Костя никогда не ел, такой хлеб никогда не мог испечь отец. А потом появлялась тарелка с картошкой и котлетой. Сверху полито чем-то белым, но не сметаной. Вот и здесь он увидел доброту, она не заметна сытым и счастливым, но обиженные жизнью улавливают ее проявления сразу. Костя степенно брал круглую картошку и макал в подсолнечное масло, полученное студентами на колхозном складе. Он знал, что это то самое масло, для которого они всей школой осенью выколачивали зерна из шляп подсолнухов, потом семечки сушили, веяли на ветру и везли в Красноярку на давиленью. Оттуда привозили масло во флягах, отец тоже получал с пол ведерка на трудодни. Раздавленные семечки лежали на самом дне. Съел две картофелины, сказал «Спасибо», поднял свой велосипед. Тот студент, который ему объяснял, подошел, подал руку:

– Ты приезжай, мы тут еще с неделю поработаем и в город. Ты в каком классе?

– В шестой пойду.

– Учишься хорошо?

– Ударник.

– А книжки любишь читать?

– Шибко люблю, только у нас библиотеки нет, сгорела, а в школе совсем маленькая, я все книжки перечитал.

Студент удивился:

– Во как! Назови свои имя и фамилию, мы тебе пришлем книги. Обязательно. Приезжай, пока мы здесь.

«Хорошие люди, – ехал и думал Костя. – Городские, а по-простому разговаривают».

Деревня гудела. Ранним утром бабы коров в табун сгоняют – об этом речи и тревоги. Мужики на наряд собираются – вместо анекдотов о том же разговор. Председатель колхоза, из которого всю душу вымотали эти вопросы, взвыл и резко послал всех. Прошел слух, что в районе принято решение с церкви снять купол. Что касается колоколов и крестов, то их сорвали еще в тридцатые годы, на правом крыльце до сих пор видна глубокая вмятина от большого колокола, который при ударе развалился пополам. Колокольная, надстроенная над сводами, была пуста, и мальчишки лет двенадцати проходили испытание: надо по лестнице добраться до бревна, на котором крепились колокола, и пройти по бревну от стенки до стенки. Высота больше пяти метров, бревно в длину восемь широких шагов, специально замерили, внизу кирпичное перекрытие церковного свода, каждый понимал, что упал – убили. Но это испытание проходили все. Костю после смерти матери освободили, Толя Синий, парень пятнадцати лет, не учился и в колхоз не брали на работу, вот он и руководил всей деревенской оравой, он и сказал, что Писаря (Костю звали Писарем, он умел сочинять стишки) нельзя допускать на колокольную. Костя вместе с другими поднимался на верх и наблюдал с завистью, как наиболее отчаянные пробегали по матице бегом и даже встреч друг другу, ловко разводясь при встрече.

Наконец, слухи в один день стали правдой. В сельсовете обсуждали, как проще сорвать купол. История повторилась, деда вздымали церковь, зачав кладку основы в глубокой трехметровой яме, а потом за великую честь считалось, если тебе удалось попасть в артель для установки крестов и подъема колоколов. Специальный молебен за этих людей служили, чтобы все у них обошлось и благополучно дело свершилось. А теперь внуки советовались, как эту красоту разрушить. Ни у одного в душе не дрогнуло. Но шел мимо лесник соседней деревни, Ваня Однорукий, а еще Березка. Однорукий потому, что правую руку минным осколком, как бритвой, срезало, вместе с гимнастеркой. Сказывают, Ваня-то за ней сначала кинулся, а потом уж сознание отлетело. Стал он верующим, на дальнем кордоне часовенку маленькую срубил, картинка! Кто-то по привычке стукнул, куда надо, приехали начальники, полюбовались, ни слова не сказали. Всякий раз, проходя мимо церкви, он останавливался, и долго молился, крестясь левой рукой. И в этот раз он понял, что сотворят со святой красотой эти люди, чуть в сторонке встал на колени и склонил седую голову.

– Отмолился, Береза, снесем купол, чтоб вид не создавал, и устроим в твоей церкви пекарню, – захохотал Митя Рожень.

– Ошибаешься, добрый человек, церковь не моя и не твоя и не их всех – она Господу Богу принадлежит, сиречь она и есть его дом на земле.

– Да хоть и дом. На небе он у вас живет, а дома на земле? Снесем, Однорукий, – злился Рожень. – Ровное место будет. Как будешь молиться? В лесу колесу?

– Опять ошибаешься, добрая твоя душа. Месту будем молиться, святому, великую силу имеющему. Гляжу на тебя – не ты ли первым падешь ниц и станешь землю грызть и просить Бога убить тебя по грехам твоим?

– Иди, иди, пока я тебя не проводил. Ишь, развел опиум! Землю я буду грызть! Хрен тебе, Однорукий, коммунисты ни перед кем в ногах не валялись, тем больше – перед богом, евреями придуманном.

Бабы зашумели на Митю, Иван Березка поднялся с колен, и, не отрясая пыли со штанов, пошел своей дорогой, вытирая слезы пустым рукавом рубахи.

Главный колхозный инженер предложил поднять на колокольню мощные тросы, которыми тракторы таскают солому, продернуть из окна в окно и обвязать один угол. Весь купол и держится на этих четырех углах. Нашлись и охотники, назвали цену, начальство посоветовалось и решило уплатить. На другой день Митя Рожень, Гриша Крутенький и Вася-Машкин сын залезли на колокольню, на ременных вожжах притянули тяжелые тросы, долго возились, закидывая вожжи из восточного окна в южное, ведь надо было угол обогнуть, потом чуть не сорвался Рожень, один ухватившись за конец подтянутого троса. Трос пропустили через вплетенное на заводе кольцо, и конец подали вниз. Тут уже стоял трактор С-80, тоже с тросом, который крючками сцепили с верхним. Мужики на всякий случай спустились с колокольни. Надо тянуть, а Ганя Паленский вдруг из трактора вышел и отказался ломать церковь, сославшись на мать, которая заявила, чтобы после этого греха он дома не показывался. Колхозный председатель ткнул локтем Анатолия Брызгина: «Ты бригадир, ты и решай!». Анатолий сам сел за рычаги, трос стал медленно натягиваться, все напряглись, рев машины нарастал, тросы гудели, колокольня вроде чуть даже приподнялась. Толпа народа собралась вокруг, старухи крестились, старики курили молча. Все – продавцы и покупатели сельповского магазина, животноводы, свободные от управы, механизаторы с ремонта в мастерских, школьники, побросавшие уроки, и увещающие их учителя – все в незнакомом ужасе ждали чего-то страшного. Но в это время гусеницы трактора букснули, и он стал медленно зарываться в землю. Анатолий сбросил обороты и выскочил из кабины. Все были ошарашены. На стене только штукатурка потрескалась. После обеда перевязали трос на другой угол, пробовали не в натяг, а рывком – ничего не получилось. Председатель колхоза велел поставить трактор на место и прибрать тросы.

– Григорий Андреич, и что же делать? – Чуть не заплакал председатель сельсовета. – Мне в районе дали всего три дня.

– Вот видишь, время у тебя еще есть. Нанимай мужиков, пусть долбят.

– Чем!? – Изумился председатель.

Андреев улыбнулся:

– Не было бы баб вокруг, я бы подсказал. А так – придется лома брать и пешни.

Народ рассосался, все вокруг церкви опустело, и она стала еще более одинокой, чем была прежде. Костя стоял у магазина, прижавшись спиной к прохладной стене, и глядел на самый верх церкви, где когда-то стоял главный крест. Он видел фотокарточки, снимали свадьбу или митинг на могиле жертв кулацко-эсеровского мятежа еще до войны, и кресты, и колокола было хорошо видно. Сейчас он, прищурившись, пытался представить крест, золоченый, восьмиконечный, но черная, давно не крашенная железная кровля не позволяла вырастить на ней величавый крест. Тогда Костя стал представлять белый, серебряный купол, а потом золотой крест, и у него получилось, серебряный купол на фоне голубого неба принял крест, и они вместе поплыли ввысь, медленно, и Костя глядел, не сморгнув, на это чудо, пока слезы застили глаза, и видение исчезло. Но он по-иному смотрел теперь на бывший еще утром сиротливый купол, хлопающий листьями оторванного ветрами железа, на потрескавшуюся штукатурку церкви, они перестали быть чужими и беззащитными, церковь стояла теперь, как православный воин после изнурительной битвы, израненный, с пробитым шлемом, одеждой, порванной мечами чужеземцев, почти истекающий кровью, но непобежденный. Костя вытер слезы и увидел рядом однорукого Ивана Березку.

– Ты плачешь, дитя мое? Господи, благослови сие мгновение! Ты видел, как серебряный купол с

золоченым крестом уходил в небо? Радуйся! И Господу нашему великая радость. Благодать снизошла на тебя, сын мой, сохрани ее и она проведет тебя по жизни прямо к ногам Бога нашего. Беги с миром!

Володьку мать встретила в воротах, вечером на Голой Гриве была большая игра в бабки, пришли ребята из Казаков, бабок принесли по два кармана. Долго бились, зареченские все продулись, как шведы, а у казачат бабок не меряно, скота чуть не табунами держат. Только тайно все, в дальних лесах загоны поставили, днем пасут, к ночи загоняют и охраняют, не столько от зверя, сколько от чужого человека. Ребятишки тоже натыкались на загоны, только не было никого из казахов, все скот пасли. Бежали оттуда без оглядки. В прошлом годе терялся колхозный пастух Чиликов, неделю не было, а потом обнаружился дома, сказал, что вино пил, потому на работу не ходил. А кто ему поверит, если Чилик по болезни желудка вино на дух не принимал! Потом слушок прошел, что наскочил он случайно на загоны казачьи, словили сторожа и держали, пока на иконе Пресвятой Богородицы не поклялся, что не выдаст. Вот и сразились, у Володьки глаз острый, плитка к руке льнет, своя, родная, а казачата все мимо да мимо. Правда, без драки обошлось, казачата задиристые, а тут куда попрешь, в чужом краю, да и зареченских больше. Володька ни одной бабки, ни единой люшки не упустил, все собрал в мешок и домой.

– Ты смотрел, как над храмом изголялись? Смотрел? Зачем тебя туда понесло?

Вовка заартачился:

– Один я разве, все ребятишки там были.

– Пусть! – Разгоралась мать. – У нас и так ребенок Богом обижен, и сами не знаем, за что, а ты еще беду накликаешь! Чтоб больше ни шагу!

Отчим закрепил наказ добрым подзатыльником.

Максим складывал на сарай только что скошенную зеленую траву. Так он за лето хороший стожок сгоношит за пригоном.

– Чо, Костя, не изломали церкву? Не по зубам? Говоришь, и трактором не могли взять? Костя, завтра опять иди, картошку вечером окучим, гляди, кто что делать будет и запоминай. Ты грамотной, опиши все для людей. Как можно руку поднять на храм?

Костя чуть не засмеялся:

– Папка, ты же неверующий?

– Кто тебе сказанул? Запомни, сынок, кто на войне был, и смерть своими глазами видел, тот сразу делается верующим.

Костя насторожился:

– А ты разве смерть видел?

Максим воткнул вилы в кучу травы и закурил:

– Вот как тебя сейчас.

– Врешь! – Невольно выдохнул Костя.

– Два раза. – Отец не обратил внимания на грубое «врешь!» сына. – Первый раз – когда наркоз дали, в госпитале ногу пилили. Я вроде память теряю, а она заглядывает мне в глаза и шепчет: «Мой, мой, мой!». Я испугаться не успел, уснул. На другой день хирургу рассказываю, а он смеется: «Смерть – это пустяки. У нас один на прошлой неделе самого Гитлера видел и даже поймал его, но уснул. Бывает». А

второй раз, когда мать умирала. Я у кровати сидел, видел, что последние часы, она все в памяти была, потом махнула мне ладошкой, уходи, мол. Я встал, а она над матерью стоит, та же самая, глянула на меня, улыбнулась, как старому другу, а матерее шепчет: «Пора, Мария, своей болью ты заслужила, что на небеса сразу пойдешь». Я к матери, а она уж и не дышит.

Костя пришел в себя, спросил:

– Папка, а как верующим стать?

Максим засмеялся:

– Не знаю. Можя, тебе лучше и не быть, это все через горе и болезни приходит. Ну, знамо дело, от книжек священных, да где их взять? А завтра чего они собрались делать?

– Сказали, долбить будут.

– Иди и запоминай, после напишешь в тетрадку.

Венька ткнулся в калитку, увидел Максима, остановился:

– Проходи, меня, что ли, испугался? – засмеялся отец.

У Веньки синяк под глазом. Костя привычно спросил:

– Откуда?

– Мать врезала. А отца сковородником в воротах встретила и полчаса по огороду гоняла. Он ей кричит: «Дура, всю картошку вытопчем». А она свое: «Чтобы близко к церкви не подходил! Мало тебе немец оторвал, надо было все под самый корень! Совсем хошь нас погубить!». Дядя Максим, я седни у вас ночую, ладно?».

Максим подал ему вилы и сказал, чтобы всю траву ровненько по крыше разложили.

Славка еще в ограде услышал, что под сараем гости. Тихонько прошел, но отец увидел:

– Назови мужиков, кто под куполом лазил.

Славка назвал. И добавил, что завтра они же будут долбить стены ломами.

– Господи! – Мария Семеновна всплеснула руками. – Так ведь купол-то на них может упасть!

– Думаю, у них хватит ума убрать простенки, а несущие углы оставить, – подал голос Паша Менделев. – Хотя надо бы подсказать, а то рухнет купол и ...

Василий Матвеевич согласно кивнул и предложил Паше сходить завтра на обсуждение и разъяснить.

– Не пойду, – огрызнулся тот. – Пусть майор идет, он партийный. А я на войне сына потерял.

Майор Попов поморщился:

– Народишко там гнилой, и придавит, так не велика потеря. Но упредить надо. Опять же и церковь жалко. Я, когда в сельсовете работал, целую папку документов собрал, как ее строили, как на кладбище ходили всем миром канаву рыть, чтобы скот не бродил, потом сосенки привезли, каждый из дому кустики принес. А теперь смотри, какое у нас кладбище, все в округе завидуют.

– И заметь, – перебил Менделев. – Завидуют, а ведь никто не сделал. Потому что надо полвека ждать результата. А мы сейчас каждую весну тополя садим, если бы все приросли – в лесу бы жили. Ладно, хоть коровы да овцы все объедают.

Ночью случилась гроза, какие часто бывают в июле, с низкими тучами и железного звука громом. Нынешнюю грозу всей деревней посчитали за предзнаменование, но утром у сельсовета собралась большая толпа. В артель набирал Митя Рожень. В договор с сельсоветом включили Гришу

Крутеняго, Васю-Машкина сына, Макара-Чудака и Осташку Пимоката. Двое поднялись вперед, приняли на вожжах лома и пешни, кувалды и ведро с железными клиньями. Когда начали долбить, запоздалый гром так резко ударил в наступившей тишине, что Осташка кинул кувалду и стал спускаться на землю. Жена подбежала и прилюдно обняла:

– Спасибо тебе, Осташенька, у меня сердце на место встало. А эти как хотят. Гром – слышал – ну, не просто же так!

– Очень даже просто, – сказал школьный физик. – Остались от ночной грозы заряды, вот и собрались в кучку, отсюда разрыв.

– «В кучку, в кучку», – передразнил дед Поликарп. – Кучки только за пригоном бывают, у кого тавалета приличного нет. Гром – это вон тем придуркам предупреждение. Ладно, иди, кого с тебя возьмешь?

Три дня долбили стены, оставляя по столбу на всех углах. Получалось, если сейчас дернуть за один угол, то потерявший опору купол рухнет на свод молельного зала и может проломить его. Стали думать. Выход подсказал майор Попов:

– Надо расширить на куполе отверстие, где стоял крест, а потом через него пропустить трос. Тогда резким рывком можно сдернуть купол вниз.

Провозились еще день. Постепенно интерес у народа пропал, только кучка старушек не покидала своего поста в стороне, у самого магазина. Когда все тросы были готовы, пригнали трактор, прицепили, выровняли, тракторист, вызванный из соседнего колхоза, сдал назад, включил передачу, резко добавил оборотов и отпустил муфту. Трактор зверем рванулся с места, подняв нос, потом его дернуло, натянутые тросы сработали, купол сорвался с места и, упав на южное крыльцо, развалился на куски.

Первым пострадал Вася-Машкин сын. От предвкушения расчета и близкой выпивки он стал быстро спускаться, оступился и упал с лестницы. Орал нещадно. Привезли фельдшера, она распорол штанину и велела принести два обрезка тесинок. Нашли и принесли, ногу обвязали, чтоб не тряслась, и в кузове грузовика отправили в участковую больницу. Старуха Раздорчиха, подозреваемая в потомственном колдовстве, подошла и громко сказала:

– Это вам первый. Видит Бог: дальше хуже будет.

Ее прогнали, но холодок пробежал по спинам оставшихся артельщиков. Как-то понуро получили расчет, набрали водки и пошли к Макару. Пили до рассвета, потом уснули, кто где. Утром хватили Гришу Крутеняго, а он уж холодный. Приехала милиция, врачи, Гриша почернел, как негр, сказали, что сердце остановилось.

Макар и Митя Рожень протрезвели, пошли под сарай, опохмелились.

– Митя, это все дело случая. Васька сорвался – куда было спешить? А Гришке давно врачи сказали про водку, что ни грамма. А мы вчера, – он окинул взглядом поле боя, – по литре приняли. Тут и без церкви можно крякнуть.

– Не поминай мне про церкву! Господи, черт меня дернул ухватиться за эти сто рублей! Все, я пошел.

Многие видели, как Митя Рожень подошел к развалинам, встал на колени, плакал и целовал рваные обломки купола. Кто-то напомнил проклятье Ивана Однорукого – сбылось. Никто не беспокоил Митю,

пока не пришла жена и не увела его домой. Митя перестал пить и пошел работать пастухом, сказал, что в лесу со скотиной ему тихо и спокойно.

Макар погиб осенью. На гусеничном тракторе таскал солому с горы. Под большой зарод соломы он задним ходом подпихивал иглы волокуши, потом обносил зарод тросом, чтоб не свалился, трос крепил на поперечный брус. Дорога шла по краю оврага. Октябрь, гололед. Десять лет таскал солому по этой дороге Макар, а тут зарод накатился, полозья вывернулись по льду из накатанной колеи, и воз стал сваливаться в овраг. Митя это заметил поздно, когда весом прицепа трактор дернуло, вырвало из накатанного углубления, и он медленно поехал боком по крутому склону, потом зацепился за что-то и перевернулся несколько раз, пока упал на дно оврага.

=====